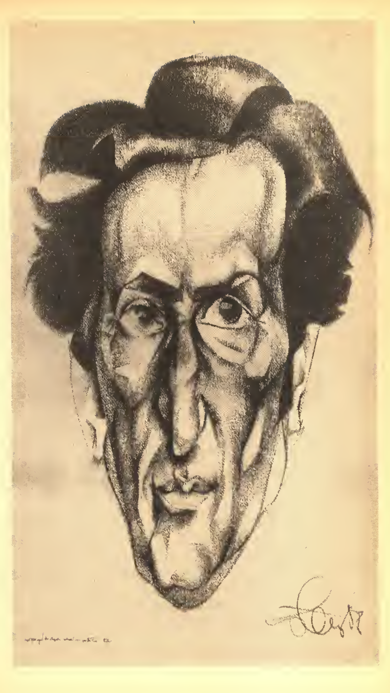
Игорь
Губерман
Прогулки
вокруг
барака



ИГОРЬ ГУБЕРМАН

ПРОГУЛКИ ВОКРУГ БАРАКА

роман

ДО "Глаголь"
Москва
1993

Художники
А. Окунь — обложка
Б. Жутовский — портрет автора

ISBN 5-7312-0104-8

Содержание

Подписано в печать 11.06.93. Формат 84x108 1/32
Бумага офсетная № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,35
Тираж 100000 экз. ТКЗ. Заказ № 1787

Издательство ДО "Глаголь", 117418, Москва, ул. Цюрупы, 10.

Моей жене Тате с любовью и благодарностью.

ГЛАВА 1

Еще в самом начале века замечательио заметил кто-то, что российский интеллигент, если повезет ему пробыть иеделю в полицейском участке, то при первой же возможностн он пишет большую книгу о перенесенных им страдаииях. Так что я исключением не являюсь. Правда, срок у меня много длинией, и пишу я, не только что издать ие надеясь, но и не будучи уверен, что сохраню. Это дневник, хотя все виденное н слышаниое я пншу в иего с запозданием — спохватился уже год спустя после ареста. Впрочем, нет — оправдывается вполие и в моем случае эта давняя усмешливая констатация: появилась возможность у интеллигеита — вот он и сел писать. А что еще не выйдя на свободу — это детали, частности. Когда опомнился, тогда и начал.

Ибо вполне я ощутил, что нахожусь в заключении, что еду в лагерь, что ступил на дорогу, пройденную миллионами далеко не худших людей, — уже в поезде, везущем иас в Сибнрь, да и то только где-то за Уралом. После пересыльиой тюрьмы Челябинска я оказался в поезде в одной клетке со своим почти ровесннком, чуть постарше, много лет уже отсидевшим, ехавшим куда-то на поселение. Очень быстро мы разговорились, а вечером он вдруг сказал мне запомнившуюся фразу:

— Ты в лагере нормально будешь жить, потому что ты мужик нехуевый, но если ты, земляк, не бросишь говорнть "спасибо" и "пожалуйста", то ты просто до лагеря не доедешь, понял? Раздражает меня это. Хоть и знаю, что ты привык, а не выебываешься.

Я тогда засмеялся, помню, а потом вдруг ясио и ярко сообразил, что началась совершенно иовая жизнь н действительно, может быть, от многих уже в кровь въевшихся привычек следует отказаться. И тогда же решил не спешить подделываться под общий крой и самим собой оставаться как можно дольше. В тюрьме я не задавался такими мыслями, оттого, быть может, и запомнился мне тот день как какое-то важное иачало.

А писать этот вроде как дневник я начал тремя месяцами позже, даже знаю, почему его начал. Недалеко от моего места в бараке на стене висят часы-ходики, неизвестно как попавшие сюда, а главное — непонятно почему не сдернутые кем-нибудь из приходящих надзирателей. И под утро вдруг проснувшись до подъема, я услышал уютный звук их мерного хода, смотрел на них долго — очень уж не вязался их мирный домашний вид с интерьером полутюрьмы-полуказармы, потом снова попытался заснуть — и услышал их звук опять, только он переменился явственно. "Ты кто? Ты кто? Ты кто?" — говорили часы. Я даже уши заткнул, надеясь, что спустя минуту услышу снова их привычное "тик-так", но ничего у меня не получилось. Так и пролежал до подъема, слушая их бесконечный вопрос, оказавшийся вовсе не случайным. Очевидно, и раньше зрела во мне жажда подумать, кто я, и вот — нашел замечательно удобное время и место для своих самокопаний. Тут я и решил делать записи, чтобы с их, быть может, помощью разобраться слегка в себе впоследствии — ибо очень ведь немало говорит о человеке то, как и что записывает он из своих текущих впечатлений. Вот посмотрю на себя со стороны, подумал я. И, как говорится, замысел свой в тот же день привел в исполнение. Не без надежды, что и читатель найдется, когда (и если) мои листки попадут на волю.

Пусть только любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону эти разрозненные записки. Ибо в них не будет приключений. Ни огня, тускло мерцающего в заброшенном доме, ни внезапных нападений из-за угла, ни щекочущих душу грабежей, ни утонченного воровства, никакой занимательной уголовщины. Кстати, и о страданиях — заранее извиняюсь — тоже мне нечего написать, ибо не было их здесь особо тяжких. Тех близких, кто на воле оставался, мне все время жалко было — это вот и впрямь тяжело. А страдать самому не довелось. Даже стыдно за свою толстокожесть.

И еще одного не обещаю: здесь и связного повествования не будет. Приходилось ли вам заметить, читатель, сколь похожи и сколь скудны все наши беседы и разговоры? Разве есть в них связная тема? Нет, мы обмениваемся анекдотами. Байками, рассказами, случаями. Притчами, историями, слухами. Приходилось мне читать, как люди некогда обсуждали ночи напролет лишь одну какую-то проблему, поворачивая ее так и эдак, приводя мысли и аргументы, доводы и возражения, даже самые анекдоты и случаи нанизывая на шампур единого развития темы. То ли

наше общение стало сейчас иным, то ли слишком мы мало знаем, то есть недостаточно образованы, чтобы долго плести нить беседы, но только факт, что застольные наши, компанейские и дружеские разговоры явственно и безнадежно раздроблены на короткие обрывочные монологи. То трагичные, то смешные, всякие. Нет, мы обожаем поспорить, даже пофилософствовать любим, наводя Монтень на плетень. Сохраняя только ту же череду анекдотов, перекидываясь которыми, как шариками пинг-понга, коротаем мы вечернее время и расходимся, весьма довольные, если было много новых баек. По тому, что рассказывает собеседник, мы даже судим о нем (и не напрасно) и решаем, звать ли его в следующий раз, и с кем совмещать, чтобы друг другу не мешали, а стимулировали. Ибо если не будет созвучия или хотя бы взаимного немешания, то не поможет и водка, без которой вообще мы разучились общаться.

Только здесь у меня не было водки. Мы общались, чифиря — за чаем, накрепко заваренным по-лагерному: полпачки на небольшую кружку, и — по кругу, каждый по два глотка. Очень он поддерживал нас, уж не знаю насчет вреда его или пользы для здоровья. Думаю все-таки, что пользы было много более, чем вреда, ибо он стимулировал дух, он бодрил нас, чифир, а главное — он соединял нас. Ничего важнее этого я не знаю для человека в неволе.

Был я в неволе уже год. Повернулось где-то невидимо лотерейное колесо судьбы, а замшело-архаичные слова эти, если чуть поиграться ими, превращаются в судебное колесо. Что и вышло у меня буквально. Потянулось долгое следствие — я преступником себя не признавал, ибо не был, потянулись долгие дни, проводимые мной то в камерах предварительного заключения при милиции подмосковного городка, то в тюрьме, куда возили отдыхать, когда следователю я был пока не нужен. В тюрьме было много лучше: целый день играло радио, рассказывая то о новых стройках в лагере мира и социализма, то о стихийных бедствиях и безработице в странах капитала, бодрыми песнями и легкой музыкой освежая наш быт, были шахматы и много людей; легче с куревом было, и кормили три раза в день, давали книги, и по воздуху была прогулка (в такой же камере, но вместо потолка — решетка). Спали мы опять же на тюфяках, а не на голых и грязных досках, баня была еженедельно. Много было и других преимуществ, из которых далеко не последнее — водопровод и канализация в камере, а не мерзкая посудина-параша, отравлявшая и воздух, и настроение.

Даже полотенце давали. Нет, настоящим отдыхом была мне тюрьма во время следствия (кстати, когда чисто вымыт, на допросах совсем иначе себя чувствуешь — полноценней, что ли, тверже и достойней, это я заметил сразу). Однажды, помню, чуть я не заплакал от обиды, как мальчишка, когда после четырех часов езды по морозу (в глухой железной коробке спецавтобуса) выяснилось, что оформлено что-то не так в моем путевом листе и в тюрьму меня поэтому не берут, надо возвращаться обратно.

А потом был недолгий и заведомый суд, и я снова увидел своих близких, сидевших в зале, и от нежности к ним, от чувства вины, что им столько за меня пришлось переживать, у меня влажно тяжелели глаза, и тогда я отводил их в сторону, и все дни сидел, уставясь за окно, где бушевала, капала, текла, голубела и солнечно разгуливалась весна.

К лету ближе уже ехал я в лагерь, и почти два месяца ушло на дорогу. Одна за другой пошли камеры пересыльных тюрем и столыпинские вагоны в промежутках (бедный, бедный Столыпин — мало, что его убил в театре запутавшийся еврей, еще имя его оказалось так идиотски увековечено этими вагонами, не имеющими к нему никакого отношения).

Уже в самом разгаре лета приехали мы, наконец, на зону. И когда нас высадили из вагона, то настолько тугой и душистый запах сибирского разнотравья оглушил меня с первой же секунды, что все те полчаса, что сидели мы на корточках у вагона, был я от этого запаха чуть ли не пьян и по-дурацки счастлив. Словно дивное меня ожидало приключение, и я прибыл уже, и вот-вот оно состоится. После был огромный грузовик (с нами в кузове и конвой, и собака), железные впечатляющие ворота — лагерь. Сбоку на здании — всюдошний, только всюду незаметный, ибо приглядевшийся, а тут видный, ибо звучащий двусмысленно, — здоровенный во всю стену плакат, что идеи Ленина живут и побеждают. А в бараке, куда нас загнали, висели два кумачовых полотнища: на одном чеховское утверждение, что в человеке должно быть все прекрасно (поразительно, как у этого ненавистника пошлости и ханжества отыскали именно это пошлое и ханжеское заявление), а также не менее затасканное короленковское, что мы созданы все для счастья, как птица — для полета. Вообще в лагере было много наглядной агитации. Был, конечно, вездесущий и знаменитый плакат "на свободу с чистой совестью", где веселый красавец держал свой паспорт точно так же, как такой красавец на плака-

те "иакопил н машниу купил" держал сберкиижку. Был даже юмор, звучавшнй иесколько палачески, ибо плакат висел над входом в самое страшиое место лагеря — в штрафиой изолятор: праздничио пляшущне буквы сообщали, что "кто режиму содержания ие подчиняется, для того режим содержания изменяется". Но все это я рассмотрел потом.

Только тот, кто про лагериые ужасы иачитался всякнх кинг и рассказов (слава Богу, что растет их число), тоже ии иа что пусть не надеется и бросает мои записки сразу. Не было в иашем лагере ужасов. Не смертельиы ныиешиие лагеря. Миого хуже, чем был ранее, выходнт из иих заключеиный, только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение — главное, что испытывал я там. Красиоярский край, граница Иркутской области, самая что ии иа есть Сибирь. Поселок Верхняя Тугуша, а по железиой дороге — станция Хайрюзовка, иа трассе знаменнтой некогда комсомольской удариой стройки Абакан — Тайшет. Лагерь здесь еще с тридцатых годов, так что миого всякого подлниио страшиого рассказать могла бы эта заболочеиная земля (н сам лагерь весь — иа болоте), ио земля молчит. И молчнт наш остров нз опилок средн болота, и молчит само болото, иачииающееся прямо за забором с колючей проволокой, и молчит угрюмый плац в середнне лагеря, утоптанный миогими тысячами здесь прошедших и ушедших людей. Часть их (притом огромиая) ушла иедалеко — кладбнще нам видно из-за забора, то место, вернее, где хоронят, ибо иикаких виешних примет кладбища у иего иет. Оно траднционио называется иомером последнего отряда — раиьше было семь отрядов, н оио нмеиовалось восьмым, а после прихода нашего этапа сделалн восьмой отряд, и кладбище стали немедлеино называть девятым. А бараки тянутся сбоку плаца — каменные, двухэтажиые, совремеиные. За отдельиой оградой оии стоят — чтобы зря ие бегалн по лагерю зеки, а сидели в своих загоиах. Это так называемые локалки — каждый отряд должеи жить сам по себе, нбо чем разобщениее мы здесь, тем иадежней в смысле дисциплииы. И вообще. За нарушение — изолятор. Еслн застанут в чужом бараке. Ходят, правда, все равио, ио иемиогие. И ие потому, что боятся они начальства, а лишь только (или главиым образом) потому, что сидит одна молодежь, н повсюду, как водится у дворовой шпаиы, — на чужом дворе пришельца встречают искоса. Интересно даже, что выражеиия тнпа "гусь приезжий" н "ие отсюда пассажнр" служат в рассказах и историях как обозиачеиие ие просто чужака, ио человека заведомо обречеииого

— иа грабеж, на избиеиие, иа пристальиое иедоброжелательное вннмание.

Это лагерь общего режима. Самый легкий — для сидящих по первой ходке. Есть, кто сидит и по второй, и по третьей ходке, еслн нетяжелым счел суд его преступлеиие, оттого ои здесь, а ие иа усилеиином или строгом режиме. Только иа самом деле общий — самый тяжелый режим, и иа строгом гораздо легче. Это мие объясиили давио. Потому что на общем — сопливый, агрессивный и совсем еще зеленый молодияк. Рослые и здоровые жители общего режима, возраста от восемиадцати до двадцати с иебольшим — в полиом смысле слова просто ие были еще вполне людьми. Мужчииами. Человеками. Были оии великовозрастиые детн и игралн в свои детскне игры. Проявляя при этом все черты, присущне детям и подросткам: безжалостиость, эгонзм, драчлнвость, мелкую заносчивость, ребячливое хамство и бессердечие, притворство, иеобъяснимую жестокость, полную готовиость к драке и сваре по пустякам. Взрослых в духовиом смысле слова ие было среди иих — я, во всяком случае, почти ие встретил. А иезрелость и избыток эиергии оборачиваются такимн чнсто животными проявлеииями, что и впрямь очеиь тяжко иа этой зоие. Кстати, оиа так и иазывалась в разговорах зеков из других лагерей — лютый спец. Билн здесь когоннбудь ежечасно, а угрозы и сварливая перебраика, по-мальчишески вздорная, ио по-взрослому опасная — просто висела в воздухе, образуя душную, затхлую, нстощающую иервы атмосферу.

Некий порядок, если это можно назвать порядком, существует благодаря блатным, арнстократам н надзирателям в одном лице, ио это тоже порядок рабства. А еще надо всем н всюду внсит безысходная слепая скука, тревожащая н будоражащая этих мальчишек, от которой оии готовы делать что угодно, лишь бы ие сидеть в тупом голодноватом оцепеиеннн. Да притом еще очеиь хочется играть в умудреиных опытом, повидавших жнзнь мужчии, отчего иепрерывио льется поток иезамысловатого вранья о жеищниах и водке, перемежаемый подиачками, ругаиью и ссорами.

Поселили вновь прибывшнх ие в бараках (лагерь зеков иа шестьсот, навезлн нас втрое больше), а загнали в клуб, где кино иа время отменили. Клуб легко вместил иаш отряд, только узкне осталнсь проходы между тремя рядами наскоро сколоченных нар.

На промзоие, где предстояло иам работать — благо, рядом она была, — делали шпалы, барабаны для кабеля, дощечки для

упаковочиых ящиков н прочую нехнтрую продукцию из огромиых могучих лиственииц, подвозимых сюда с лесоповала.

Нет, ие сразу я освоился здесь. Очень миогое ие то чтобы испугало и пригнуло меия, но скорее до отчаяиия н тоски расстроило. Та жестокая и бездумная мальчншеская задиристость, о которой я уже говорил, — странио сочеталась в моих новых соседях с очень взрослой, дремучей, старокрестьяиской прнжимистостью и злобиой скаредностью. Часто очень трудно, к примеру, становилось иа зоие с табаком. И табак превращался сразу в иекую цеииость, вокруг которой собиралнсь компании, объявлялись приятели, оцеиивались связи. Голая и неприкрытая корысть — ие иа золоте осиованиая, а иа табаке! — поселялась в иаши отиошеиия. И впервые в жнзии я вдруг совершил страшиый и странный грех: иеожиданно для себя сказал однажды, что закурить у меня иечего, хоть махорка еще была. Ои спокойно повериулся н отошел, малеиький слесарь Валера нз Владивостока (покуривал опнум с приятелем, доиесла теща, три года), ои уже привык к отказам, ои прекрасио зиал, что табак у меия есть, ио его иравствеииое чувство никак не было возмущеио или даже задето моим отказом. Ибо ои и сам поступил бы так же, просто очеиь хотел курить, ие дали, вот и все, иикаких проблем. Ои давно уже от меия отошел, а я все еще стоял, вспотев виезапио, покрасиевший, в невероятно омерзительиом состояиии. Нет, не стыдно за себя — мие страшио стало, что по этой вот иаклоииой плоскости я легко покачусь и дальше. И я кииулся искать Валеру. Никуда он, коиечно, деться не мог, и я вмиг его нашел на нашем крохотиом дворнке-загоие. Это первые были самые дни, иас держали еще в карантиие, в так изываемой этапиой камере — было там, иаверио, коек шестьдесят, так что иаши полторы сотии умещались запросто, иа полу вповал, тесио прижимаясь друг к другу. И такой же был рядом дворик, отгорожеииый от зоиы забором. Валере суиул я махорку, что-то жалкое и иевиятиое бормоча, что достал, дескать, что забыл, что вот, пожалуйста, берн н подходи всегда. Он ее у меия взял, иикакого удивления ие выказав, тут же протяиулся ко мие еще десяток рук, и в минуту я остался без курева.

Ах, дурак! И я тут же остыл от своего раскаяниого порыва. Ну, а что я буду курить через час? Завтра? А еще через иеделю? Нет, на иеделю все равио бы ие хватило. Очень долго я в тот деиь раздумывал, как вести себя впредь н далее и как разум, диктующий жлобство и скрытиость, примнрить с душой и

совестью, привыкшнми... погоди-ка, милый друг, к чему привыкшнмн? Только к тому, что ты щедро всю жизнь делился, отдавая нечто, что ие обездоливало тебя самого, а здесь речь идет о последнем н трудно восполнимом. Это уже, брат, не филантропня, а потяжелей н посерьезней. И еще: отдавать ты будешь людям случайным н неблагодарным, кон самн с тобой так ннкогда не поступят. И поймут тебя, кстати, не обидясь, если будешь воздержнваться и ты. Ну, подумай-ка, подумай еще.

Я подумал и решил отдавать. Просто мне это было легче н проще. И до той поры так поступал, пока не узнал, что меня за глаза нменует кто-то "профессором", только в такой тональности, как говорилн бы "блаженный", знай онн это слово. Тут я обиделся н стал поступать по настроенню. Каждый раз мучаясь, когда проявлял жадность н зажнмательство, и не менее того сожалея, когда расщедрнвался, как на воле.

А потом я не заметил н сам, как прнжился н обжился на зоне. Просто лето очень быстро промелькнуло. И вот тут-то, к осенн уже, втемяшилось мие это с дневннком. Очень жалко мне стало вдруг, что сотрутся, забудутся впечатления — н от следствеиных трех тюремных камер, и от пересыльных пяти, н в "столыпинах" днн и иочи забудутся, и впустую вроде канут все встречи. И на зоие были разные разговоры, нбо скоро я оброс собеседннкамн. Я общался очень много с Пнсателем, тоже москвнчом, белой здесь вороной такой же. Он пнсал какието книжкн, о которых разговарнвал иеохотио, что пнсателям, похоже, несвойственно, а однажды был прнглашен — с почтением — сотрудничать с лубянскимн доброжелателямн. Очень он был нужен нм, потому что с кучей ннтересных людей общался тесно, а Всевидящее Око о них зиать хотело поподробией. Отказался иаотрез и безоговорочно. "И вот я здесь", — говорил он, совершенно этнм, кажется, не огорченный. Очень жадно на все смотрел он н расспрашивал. Собнрался, должно быть, бедолага, что-ннбудь из увиденного потом художественно опнсать. Один зек хорошо ему сказал:

— Если у тебя, Пнсатель, про иас книжка честная получится, то ты сразу проснсь иа эту зону, здесь прнжился, легче будет новый срок тянуть.

После появился Деляга. Этот ннженер, ннстнтут закончил, но главное — заядлый коллекцнонер. Собнрал он иконы, а подсел за покупку нескольких штук краденых, те же воры его и посадили, что украли нкоиы этн, привезлн их ему и продали. Явленне редкостное, чтобы воры сажали своего же собственно-

го покупателя, но те были на него злы, что он их из дому выгнал, догадавшись как-то, что они сбывают краденое. "За такую подлянку этим сукам нож полагается по добрым старым обычаям", — сказал Костя, человек опытный и неболтливый.

А в санчасти жил Юра, или Лепила (общее на фене название для фельдшеров и врачей), хирург из Норильска. Молодой, взбалмошный и азартный. За то н сел по статье о жульничестве. А нз тех, чье имя я до поры не иазываю (по причине простой и веской), был Бездельник — я люблю его больше всех. Ои писал стихи, и уже две кннжкн его вышли за границей. "Такне сборннки дерьмовые вышли, — говорил он беззаботно н ие грустя, — даже как-то обидно за них срок отбывать. Видно, есть что-то ущербное в моих стишках — ни здесь оии ие нужны, ни там. Хоть зарежься". Его постоянный оптимизм и внезапно вспомннаемые байки — много раз мне жизнь облегчали в лагере.

— Красота, когда в чрезмерном количестве, — очень может оказаться вредна, — сказал он мне как-то назидательио, когда я несколько часов читал, не отрываясь, при слабом свете, и к вечеру у меня глаза опухли, и кругн перед ними плыли, покачиваясь. У его знакомых домработннца была, и одиажды летом она рассказывала — Бездельинк слышал — своим приятельницам об их коте, оказавшемся после пыльного города на природе и слишком жадно окунувшемся в ее радости. Васька-то, говорила домработиица, этнх всяких насекомых жрал, жрал, а под вечер гляжу: сидит возле дачиого крыльца, и рвет его, бедолагу, так и рвет. И все, представьте, — бабочкамн, бабочками.

Очень мне жить помогло общение с этнми людьми, разговоры их, подначки, споры, ибо давно было замечено и сказано, что без привычной человеку среды он неуклонно превращается в Пятницу. У меня эта среда — была.

Мы работали, в общем-то, немного. Не было каторжного труда. Сказывалась перегруженность лагеря, и промзона всех работой не обеспечнвала. Да еще, когда пошли дожди, то и дело не моглн сквозь грязь пробиться, застревали тяжелые лесовозы. А то строили новый барак, на промзону иас не выгонялн, а в жилую — не подвозили материалы, и мы целыми днями отсиживались за полусложенными стеиами нашего памятника лагерной архитектуры. И если многих молодых эта незанятость мучительно томила, то Бездельинк ею искренне наслаждался. Мы часами бродили вокруг этого недостроенного барака, и все на-

ши сумбурные разговоры захотелось мне тоже записать. Но с чего иачать, ие знаю. С давнего бы надо, с уплывающего, чтобы окончательно не стерлось. Но уже не сегодня. Не получится. Я пишу это в каптерке у приятеля, а ему пора ее закрывать.

* * *

Тюрьмы отличаются друг от друга приблизительно так же, как семьи, в которые ходишь в гости: атмосферой своей, кормежкой, всем набором ощущений, что испытываешь, в них находясь. На всю жизнь я запомню тюрьму в Загорске — и не только потому, что она была первой в моей жизни. Расположеиная в здании бывшего женского монастыря (а другие говорили о женской тюрьме при монастыре, третьи — о вообще гостинице для приезжающих в Троице-Сергиеву Лавру), поражала она своей на века могучей кладкой стен, сводчатыми потолками, и была она страшной по режиму. Кормили в ней скуднее всех тюрем, в коих мне довелось впоследствии побывать. Это после нее во всех тюрьмах просыпался я тревожно и лихорадочно от лязга ключей в замочной скважине — потому что при каждом обходе любого из надзирателей (а на нашей фене — дубака) надо было вскакивать всем и выстраиваться, а дежурному — рапортовать, что в камере такой-то столько-то человек и что все в порядке. Задержался на иарах — уводили и били. Молодые, совсем зеленые прапорщики и лейтенанты, румяиощекие и чистоглазые юнцы. И кошмарно яркая лампа день и ночь горела в крохотной нише, густо побеленной и отсвечивающей поэтому, как рефлектор. Помню, как чуть позже переведенный в тюрьму в Волоколамске, я лежал, когда погасла диевиая лампа и загорелась слабая ночная, и блаженно улыбался полумраку, казавшемуся дивным отдыхом.

В эти дни как раз в газетах писали, какому жуткому поруганию достоинства был предан Луис Корвалан в его чилийской тюрьме: ему три дня подряд не гасили в камере свет.

И режим был гораздо легче в Волоколамске — можно было, например, запросто "подкричать на решку" — перекликнуться со знакомыми через решетку — слышно было камеры через две в стороиу или вверх-вниз на этаж. Мы в Загорске и подумать о таком ие могли. Но зато Загорская тюрьма была показательной — я потом об этом узнал — и ее хвалили на совещаниях. А кормили там хуже, чем везде, я семь тюрем проехал по-

сле суда, добираясь до далекого сибирского лагеря. Жидкий суп без капельки жира мы съедали торопливо и жадно, всего чаще это была уха, только плавали в ней одни скелеты и головы — рыбок отбивали перед варкой, и все мясо сваливалось с них. А потом разливали второе в наши миски — теплую жидковатую мешанину из протухшей капусты, почерневшей свеклы и картофеля, изъеденного каким-то картофельным недугом. Есть очень хотелось, но есть это никак было нельзя. Ковырнувши ложкой пару таких гнилых кружков, мы выбрасывали второе в парашу. Оттого и хлеб, как бы ни был он похож на глину, мы съедали весь еще днем, чтобы затравить голод. А стояло на дворе — начало осени, и тревожили нашу еще свежую память мысли об огурцах, помидорах и картошке, политой маслом. Разговоры о еде, впрочем, были под негласным запретом. А на ужин опять была такая же уха или каша из крупы, никому неведомой на воле. После кто-то опознал в ней перловку, но и тогда я не нашел сходства с перловкой, что доводилось мне есть раньше. Полбуханки хлеба никому почти не удавалось дотянуть до вечера, но, по счастью, был у нас хоть табак. Что такое голод без курева, мне довелось узнать несколько позже. Очень много все-таки крали у нас в Загорске из тех тридцати семи копеек, что нам в день полагалось на еду. Тридцать семь копеек на воле — это буханка черного хлеба и пачка дешевых сигарет, это фантастически мало, но кормить на эти деньги можно — в этом я убедился в последующих тюрьмах, где уже не голодал. Потому что на рыбьих скелетах там бывала еще часто рыбья плоть, потому что на второе давали непременную кашу, потому что какой-то жир ощутимо и явственно попадал все же нам в еду.

Но зато именно в Загорске приобрел я свой первый опыт самого, быть может, страшного из того, чему учат тюрьма и лагерь: что в себе надо силой давить сострадание и сочувствие, что нельзя ни за кого заступаться. Чуть попозже, в Рязани, где сидели в камере скопом люди с общего и усиленного, строгого и особого режимов, довелось мне дня три пообщаться с интеллигентным средних лет ленинградцем, ехавшим на поселение. Ожидая этапа, встретиться на воле мы не договаривались, хотя очень этого хотелось обоим, но еще впереди были годы, а он знал, как меняет людей лагерь, и молчал, не прося у меня адрес, молчал и я, полагая, что не стоит навязываться. Однако же о будущем моем он, очевидно, думал, ибо как-то на прогулке отвел он меня в сторону, закурил и сказал как нечто очень-очень важное:

— Старина, посидевшие на зоиах различают людей насквозь, ты еще иаучишься этому. А пока ты наивен, как щенок, несмотря на свои сорок пять, седину и возвышениое образование. Ты в лагере иаверияка прижнвешься, и друзья у тебя будут, н прнятелн. Об одном только, с тобой пообщавшнсь, я хочу тебя сразу предупредить. Ты неизлечнмо болен очень редкой даже на воле болезнью — ты ко всем суешься с добром. А на зоне это не просто глупо, это опасио. Добро можно делать только в случае крайней необходнмостн, а по возможностн — совсем ие надо делать. За него тебе добром не отплатят, в лучшем случае — ничем не отплатят. Чаще — злом. Оно возникает само н нноткуда. Ты меня сейчас не поймешь. Поверь. Я на воле жил, как ты. Но воспнтался. Знаешь, на блатиой фене есть замечательное выраженне: попасть в иепонятное. Еще не слышал? Ах, слышал. Так вот ты все время в иего будешь попадать. Не суйся! Ты ие веришь мне сейчас, я знаю. Только слушай, неужели ты еще нн разу в тюрьме в иепонятиое не попадал?

Попадал. Просто я не сказал ему об этом. В первый месяц в Загорске. В нашей камере было восемь шконок (это узкие нары на одного), а сидело иас пятнадцать человек, — спали на столе и на полу. Помещались. Много было блох и клопов. Ловили. А у рослого симпатнчиого парня Мншкн красиая шла сыпь по всему телу — нервное что-то, как он иам объяснил, и его каждый день водилн в санчасть мазаться. Он сидел за какую-то драку: то ли ои соседа побил, то ли целую семью соседскую — так обычна была его нсторня, стольким давалн срок за пьяную стычку, что забылось всемн иемедленно все, что он рассказал. Но однажды, уже с месяц спустя, принеслн ему обвинительное заключеине — скоро предстоял, значит, суд. Покажи, прнсталн к нему в камере, все показывалн друг другу эти данные предварительиого следствня, представляемые в суд. Называли их ие нначе, как объебои. Покажн свой объебон, пристали к иему, а он категорнческн отказался. Завтра, сказал он хмуро, сегодня сам буду читать. Завтра так завтра. Но наутро этих листков ие оказалось, только последний самый, где перечислялись вызванные в суд пострадавшие н свидетели. Были там перечислены пять илн шесть женщин, а он, помнится, рассказывал о пожилом соседе. (Пожилом — это значило, что моих лет, молодые все сидели в камере парни.)

Коллектив нашей камеры возмутился громко и единодушно — все показывали свои объебоны, что могло там быть такого осо-

беииого? Потом затих общий галдеж, ио тишииа — самая опасная в тюрьме атмосфера. Переглядывались, перекидывались односложными словами в его адрес. Ои отмалчивался и лежал на своей шконке, отвериувшись к стеие лицом. Ои еще сказал всем, что иочью отдал эти листки иадзирателю. Но зачем? Это явиая была и раздражающая камеру ложь. И когда его вызвали мазаться, двое твердо сказали, что сейчас оии будут его бить, когда вериется. Чтобы зиал, как иарушать традицию полиой открытости любых бумаг по делу. Нет, о самом деле ты был вправе говорить кратко, в камере вполие могли быть подсадиые утки, это иа личиое усмотреиие каждого оставалось — устиая откровеииость, ио бумаги — их иикто ие скрывал. Да и что в иих было скрывать, в казеииых бумагах? Скажет, мрачио говорили эти двое, подзадоривая иа расправу и остальиых. Разворотим харю, опустим почки — скажет. Поддержали их все. Кроме меия. Здесь всего скорей, честио сказать, сыграла роль моя иеприязиь к двум этим типам, подмосковиым полуспившимся бичам, игравшим сейчас в камере бывалых преступииков, рьяиых блюстителей тюремиых традиций. А больше всего иа свете я всегда ие любил блюстителей. Чего бы то ии было. Даже самого что ии иа есть хорошего. Ибо блюстители с иепремеииостью опошляют и пачкают все, что усердно и добровольио защищают. И поэтому я сел иа своей шкоике и сказал, что только через меия. Что я бить его иикому ие дам. Не хотел ои, вот и ие показал. Не обязаи. Вы обижеиы? А здесь обижеииых ебут, это главиая тюремная поговорка, вы мне ее сами рассказали. А иаказывать Мишку — ие за что, и ие наше это дело — радовать меитов иашей дракой. Что-то в этом роде патетически сказал я тогда, упреждая иазревавшую расправу. (Очеиь после страшио стало, только было уже поздио отступать.)

Камера хорошо ко мие отиосилась, и еще два дня этот Мишка, ни с кем ие разговаривая, пролежал иа своей шкоике иебитый. Только эти двое ворчали изредка и косились иа меия, я же полои был, призиаться, самодовольства, что ие дал побить человека. А иа третий деиь с утра его вызвали (по феие — дернули) из камеры, чтобы везти на суд, ои ушел, ии с кем ие попрощавшись, и почти сейчас же мой сосед и приятель выкрикиул голосом Архимеда:

— Мужики! А я зиаю, по какой ои статье. Ои же по сто пятиадцатой, подонок! Вот почему там одии бабы!

И иемедля, как бывает только в жизии и в плохих кииофиль-

мах, надзнратель отомкиул иашу дверь н сказал ворчливо:

— Ну, ушел же, коиечио, я ведь видел. Я в саичасти говорю: увезлн иа суд, а оиа говорит — ие может быть, еще два укола осталось.

— Какие два укола? Ои же мажется чем-то, граждаиии иачальиик, — спросил кто-то из иас. Коридориый посмотрел иа иего презрительио н сказал:

— Деревия! Кто же от сифилиса мазью мажется?

И добавил, иашим изумлеиием польщеииый:

— Шестерых еще иаградил, сукии сыи. И даже собствеииую бабу.

И захлопиул дверь, что-то снова буркиув о врачихе. Все молчали и смотрели на меия. Я тоже молчал ошеломленно.

— Твое счастье, Мироиыч, — хмуро и зло сказал мой сосед, — что ты — это ты, а то дали бы тебе сейчас оторваться, искал бы пятый угол до вечера.

— Что же оин, суки, делают, как же его можио было к иам сажать, это же уголовиое преступлеиие по той же статье, — бормотал я, чтобы хоть что-нибудь говорить.

— А вчера и позавчера мы с иим все из одиой кружкн пили, — сказал кто-то.

— Да ие убивайся ты, Мироиыч, — добродушно сказал сосед. (Спаснбо тебе, дружище, где ты, интересно, сейчас. Ломилось тебе лет восемь. Пьяиый иапарник вез тебя, пьяиого куда сильней, на вашем тракторе, раздавил стоявший "Запорожец" с мужем и женой, а тебя, когда все это увидел и отрезвел, посадил на свое место.) — Не убивайся. Мы с иим почти месяц сиделн, иа три дия бы раиьше узнали — какая разиица? А оии и вправду суки. Подумаешь — тюрьма переполиеиа. Положили бы в санчасти где-ннбудь. Им, козлам, плевать иа иас. Проиесет, Бог даст, ие заразимся.

Все в камере загалдели возмущеиио, стали обсуждать, куда жаловаться и что за это будет (им, жалобщикам, а ие иачальству, с этой механикой уже все были зиакомы), а я очеиь долго молча сидел и курил, обдумывая свой первый в заключеиии опыт соблюдеиия справедливости.

Грустиая мудрость того встречеииого лениградца оправдалась на зоне, где однн за другим были мие преподаны чрезвычайио иаглядные уроки. Их героем оказался Писатель, я смотрел со стороны и ужасался — как бы это выразиться точией — краху гуманистического созиания. Нет, иикаких особых трагедий не было, просто с четкостью взводимой пружииы

срабатывала логнка непремеииого иаказання за добро. Отвечая той же мерзостью, что сменила гнбельный кошмар былых лагерей грязным растлеинем человека в лагерях сегодняшинх. Было так.

У отряда нашего был завхоз, тоже зек, здоровенный мужнк нз Красноярска, бывшнй таксист, севший за кражу двух ковров. Эта страниая фнгура — завхоз (нбо не было ннкакого хозяйства в отряде, кроме нас самнх) — просто старшнй зек в отряде зеков, тот рычаг, которым иамн управлялн, н тот кнут, которым нас погонялн, первый исполннтель волн н прнхотн лагерного начальства. Одновременно следовало ему быть цепным псом н не забывать прн этом, что тоже зек, чтобы после, а то н прямо в лагере ие получить внезапио ломом по голове — очень распространенный вид воспнтаиия любых лагерных актнвнстов. Было у нас восемь отрядов (кладбнще называлось девятым), н очень по-разному велн себя нх завхозы, одинаково явно заботясь только о своем будущем. Наш был самым оголтелым псом — думаю, что просто по глупостн, коей был наделен очень щедро. Его круглая большая голова с совершенно круглымн бараньимн глазами (ннкогда ранее не видел я такнх действительно скотских, неподвнжных н тупых огромных глаз, только без влажиой грусти, что всегда теплнтся в глазах жнвотных) то н дело мелькала в бараке нашем, где всевластный он был хозяин. Бил он зеков по малейшему поводу, а проснувшнсь — когда не в духе, — без повода, и боялнсь его смертельно. Это он в зиачнтельной мере был причнной того общего душевного угнетення, что царило у нас в отряде с самого начала, превращая начннающнх зеков в отупевшне бессловесные создання. Одной нз его первых затей была команда инкого не впускать в барак до отбоя, а как раз пошлн дожди, похолодало, н продрогшне, мокрые жалнсь зеки у дверей, даже после работы лншенные возможностн отогреться н обсушиться. Нн в одном нз отрядов такого не было. А Пнсателя как раз назначилн культоргом, странная эта должность кем-то была придумана для показухн самоуправлення зеков. Даже был такой балаган, что прншел офнцер н предложил отряду самому выбрать культорга (завхоз — тот просто назначался), но прн этом сразу назвал фамилню того единственного, которого иачальство утвердит. Так что это былн иастоящие демократнческне выборы с голосованнем н протоколом всеобщего единодушня. Кстатн, н в брнгаде каждой был культорг — этот явно н просто должен был помогать брнгаднру, прннуждая нас работать, отчего н бра-

лись в культорги (уже сам бригадир себе присматривал) кто пожестче и поздоровей (так что организаторами культурной жизни оказывались, как правило, могучие дебилы), а отрядный культорг — тот был заместителем завхоза. Хочешь — тоже бей, как он, хочешь — тоже набери себе шестерок посильней, только чтоб в отряде был порядок и тишина.

Так что Писатель попал в культорги случайно — по формальному признаку, что образован, да и пробыл им всего две недели, ибо в первый же час исправления своей должности сказал завхозу, что людей надо пускать под крышу в непогоду. Потому хотя бы, что ведь и скотину пускают, а тем более во всех отрядах принято, что, когда свободен, можно находиться в бараке. Был как раз день, когда лил дождь с утра и пронизывающий дул холодный ветер-хиус, и казалось сумасшествием выгонять людей на улицу, как это делали сейчас шныри (дневальные, дежурившие по бараку), ибо собрание уже кончилось. Завхоз, естественно, ответил новоиспеченному культоргу, чтобы тот не лез в чужие дела.

— Я тогда вынужден пойти к дежурному офицеру, — сказал Писатель.

— Ты хоть на хер иди, а будет по-моему, — сказал завхоз. — А в культоргах тебе не жить. И пойдешь горбатить на промзону. Мокрых бревен еще таскать не приходилось? Давай, иди к офицеру.

Тут Писателю ничего и делать не оставалось, ибо выбор ему предлагался простейший, вековечный, человеку всегда и всюду предстоящий: человеком оставаться или при должности. Оставаться самим собой или сдаться, обвиняя время и обстоятельства, но зато на прекрасном теплом месте (и от работы культорг отряда освобожден). Зона вообще интересна тем, что обнажает догола, снижает до простейшего варианта очень многие узловые проблемы бытия, здесь ты можешь исповедовать любое мировоззрение, только не словами, что пусты здесь, а поступком.

Победили прочитанные книги, победило то спасительное нечто, что задавливало в себе большинство, чтобы жить на зоне было легче. И Писатель поплелся к офицеру, ища поддержку своему сочувствию зекам.

— Вполне в такую погоду можно пускать в барак, — сказал встреченный им лейтенант с испитым, но не злым лицом. — Я скажу сейчас. Не пускает кто? Дневальный?

Писатель что-то промямлил нечленораздельное, очень уж не

хотелось жаловаться на этого барана, тоже зека, хоть и подонка. А не пускал действительно дневальный — только по приказу завхоза и боясь его кулака.

— Что же ты, суки сын, людей под дождем держишь? — обратился лейтенант к дневальному. Шнырь этот, здоровенный тоже детина, только с мягким лицом семейного баловня, сидел за грабеж — отобрали у кого-то бутылку, потому что не хватало самим. Три года. Лучше его было бы высечь и отпустить, здесь этот маменькин сынок на глазах превращался в лагерного блатного, в неминуемого будущего преступника, только настоящего уже, а не бутылочного масштаба. А пока что ему очень нравилась возможность безнаказанно бить.

— Кто не пускает в барак? — сказал подобострастно дневальный. — Я что ли, гражданин начальник?

И спокойно обратился он к сгрудившейся толпе заключенных, мокрой и окоченевшей толпе:

— Я кого из вас не пускал? Тебя? Или тебя? Нет, ты скажи — я тебя, что ли, не пускал? — он поочередно обращался к стоящим впереди, а они к ужасу и стыду Писателя опускали глаза, молчали, отводили взгляд в сторону, пятились назад.

— Нет, ты мне скажи — тебя? — наседал шнырь, распаляясь праведной обидой. — Кто же это вам наплел, гражданин начальник?

— Когда холодно и дождь, можно пускать, — сказал лейтенант брезгливо, недосуг ему было разбираться. Повернулся и ушел, скользя по размытой глине плаца для построений. А Писатель стоял, как оплеванный, а за шнырем стоял завхоз, усмехаясь, и стояли молча зеки вокруг, и никто не осмеливался войти.

— Мерины вонючие, настучали, — сказал шнырь громко. Он всего неделю назад был такой же, как они в этой толпе, но уже он поднялся на ступень по крутой лестнице лагерной иерархии, и уже он был совсем другой, и уже его следовало бояться, и невероятно сладостно ему было чувство, которое он теперь внушал, и то право, которым он теперь обладал. Ибо, кроме права бить, он еще назначал, кому мыть сегодня полы, а полы были в бараке обширные и донельзя грязные, естественно. А завхоз молчал торжествующе и величественно. И Писатель, постояв секунду, ушел. Не хотелось ему идти в барак, хотя он туда входил, когда хотел. И прилечь он мог поспать, когда хотел, — и всего только молчанием заплатить. Означающим согласие и сотрудничество с этим вот назначенным ба-

раном. Как онн вынскивают такнх? Безошнбочно, быстро, наверняка. Только вот с Пнсателем ошнблнсь, гипноз образовання ослепил их. Но вольны нсправнть ошнбку. И плевать. Но зеки-то хорошн. Сволочи. Бедняги затравленные. Вот иа этом все н держнтся здесь. А, да разве только здесь? Это все уже Пнсатель говорил подошедшим вскоре Бездельннку, Деляге н мне. И душа его прямо на глазах отходила н оттанвала, просто-таки светлела с каждой мннутой, нбо срабатывала прнвычка анализировать н обобщать, а утоляемая привычка — это же н есть радость в ее чнстом виде, так что уже не о пораженнн своем и не про обиду он рассуждал, а о потрясающе ярком факте. Ибо в сущностн — повезло ведь иеслыханно, если правильио рассмотреть происшедшее.

— Как воочию убедился я сегодня в правоте этнх засранцев англнчан, — бормотал нам Пнсатель тороплнво. — В самом деле, всякнй иарод достоин своего правнтельства. На какой же крохотной моделн это ясно видно!

— Ваша склонность обобщать, сэр, делает вам честь, но может завестн гораздо дальше, чем вы находитесь сейчас, — благодушно сказал Бездельник. — Из культоргов ты вылетишь на днях. Но неважно. Потому что я в тебе уверен — ты и в рядовых зеках сможешь попасть в непонятное. Ибо в тебе эта склоиность не угасла. А как говорнт моя теща, вообще ннкакое добро долго не остается безнаказанным. Очень уж ты, брат, гуманитарнй. Это я тебе как зек говорю. Набнрающнйся опыта зек.

— Я н добро отныие несовместны, — сказал Пнсатель с патетнкой провинцнальиого трагнка. Было видно, что он уже отошел. А потом мы еще н чнфнрнулн. Интересно, подумал я, вспомнная того провидца с пересылкн — будут еще какне-ннбудь урокн?

Не прошло с этого дня н двух месяцев. Хотя завязка была намного раиьше. Дело в том, что, сюда прнехав, кннулся Пнсатель в бнблнотеку, вожделея, как молодой любовннк. И вернулся темнее тучн. Ннчего, просто буквально ннчего не было в этой крохотной комнатушке. То есть книг-то было штук двестн: бнографня Леннна н воспомннания о нем, толстые тома белиберды о пренмуществах соцналнзма, н пособня трактористам, слесарям и штукатурам. И газеты, дней на десять опаздывая, здесь укладывалнсь в ровные стопкн. Вот н все. А счнталось — бнблнотекой. Как потерянный, бродил в тот день Пнсатель, утратнвшнй надежду на чтенне. Ибо хоть что-то прнвычное

должно оставаться человеку, чтоб и он человеком оставался. Так что с этой точки зрения, как Бездельник не преминул заметить, прижигая йодом душевную рану друга, лагерная библиотека пуста не случайно, а естественно и закономерно. Чтобы никаких поплавков у души, сюда попавшей, не осталось. Это, правда, была идея слишком тонкая, ибо ранее когда-то книги были, но их все растащили офицеры, как потом нам объяснил библиотекарь, севший за аварию деревенский шофер. Хуже, что и личных книг здесь почти ни у кого не было — вчерашние трактористы, слесари, плотники и монтеры сразу после школы бросили читать книги, появились у них иные (и куда острей) забавы.

И тогда пошел Писатель (не отряхнув с себя прах былой наивности, как выразился Бездельник) прямо к заместителю начальника лагеря по политической и культурно-воспитательной работе (так он именовался) с превосходной (по мнению Писателя) и простой идеей: он, Писатель, напишет своей жене, а та пришлет на адрес лагеря (а не мужу лично) три-четыре книжные посылки (зеку полагается на общем режиме одна посылка раз в полгода, но только после отбытия половины срока). Книги эти Писатель сразу и заведомо дарил лагерной библиотеке, а так как известно, что литература (издаваемая, разумеется, у нас) непременно сеет разумное, доброе и вечное, то и зекам эти несколько десятков книг скрасят жизнь и послужат перевоспитанию. И получил в ответ Писатель вполне благожелательное согласие. Где-то через месяц вызвали его в штаб лагеря, и принес он, веселясь и торжествуя, груду книг из собственной библиотеки. Их немедля расхватали читать, и приятно было (и смешно) смотреть, как нескрываемо радовался Писатель, на это глядя. И во что-то сам уткнулся, и наш треп почти забросил, и шахматы. Книги были средненькие, признаться, но уже ему жена написала, что купила кучу только что вышедших и послала новую посылку.

Прошло два дня всего, как у нас появилось чтение, и Писателя вдруг выдернули в штаб. Никогда ничего хорошего эти вызовы для нас не означали. После сразу объявились мудрецы, задним числом клятвенно утверждавшие (век мне свободы не видать!), что предвидели такой оборот, но нельзя было такое предвидеть. В штабе Писателя немедленно провели в оперативную часть.

Я уже предупреждал тебя, читатель, что не будет здесь красивых ужасов — только мерзость монотонной бессмыслицы,

глупой и по-глупому жестокой, опишу я тут, как сумею, поручившись лишь за полную достоверность всех моих свидетельских показаний. Да нарочно такое и не придумаешь.

В кабинете сидело человек пять — это была зловещая комната, били обычно здесь. Заместитель по режиму капитан Овчинников сидел, поигрывая связкой ключей. Их зажав в кулаке внезапно, наносил он первый удар и почти всегда сбивал с ног, остальные били сапогами. Все они сейчас были тут. Средн них и инспектор политчасти, что присутствовал сам при разговоре, когда Писатель договаривался о посылке. Красное, всегда воспаленное лицо Овчинникова было сейчас свирепо донельзя. Очень страшная была рожа у этого тридцатилетнего капитана, ярого вымогателя денег у зеков, идущих на свидание с родными. Делал он это обычно через своих доверенных лиц, но не брезговал требовать и лично, угрожая, что в противном случае человек сгниет в изоляторе. Это было вполне в его власти, а что сгнить в изоляторе легко, знала превосходно вся зона, ведь не зря лагерь целиком стоял на болоте.

— Ну ты, хуета, — сказал Овчинников сорокапятилетнему Писателю, — что за книги ты заслал на зону?

Был отчетлив в его зловещем "заслал" отзвук будто бы идейной диверсии, совершенной злокозненным врагом.

— Обычные книги, — пожал плечами Писатель. — Современные. Советских изданий. А потом — договаривался с политчастью. Это подарок библиотеке.

— И, конечно, книги разошлись уже по отрядам? — спросил инспектор политчасти, деревянный какой-то, малопонятный капитан Коломыцев, никому не делавший добра, но и зла, надо сказать, не делавший тоже.

— Нет, — сказал Писатель, — они все у нас в отряде. Читаются.

— Ну-ка быстро их тащи все сюда, — вдруг взорвался Овчинников, привставая. — В изоляторе я тебя сгною. Мухой чтоб летел за книгами!

Книги собирали молча, быстро и недоуменно — в воздухе висел страх и непонимание того, что происходит. Лагерная метафора, образ "попасть в непонятное", был сейчас удивительно буквален и точен. Ведь нормально за такое благодарят. Собранную груду книг Писателю помогли донести до штаба, сам он ронял то одну, то другую книгу. В оперчасти его встретили враждебным молчанием и сейчас же набросились на принесенную охапку этих кораблей мысли (кажется, Монтень их так назвал).

Стало все чуть ясией, когда инспектор Коломыцев, быстро перехватав с десяток кииг, чуть разочароваиио сказал:

— Нет, иичего такого нету.

Все расселись по своим местам, и уже почти спокойио, только недружелюбио до крайиости глядя иа Писателя, капитаи Овчинников спросил его:

— Зачем ты это сделал?

— Но иа зоие нет книг, — беспомощно ответил Писатель, — я хотел подарить сюда кииги, чтоб читали.

— Зоиа что же — нищая и ие может купить сама? — спросил капитаи.

— Очевидио, может, — сказал Писатель. — Только книг ведь нет. И потом я же в подарок, из своей библиотеки.

— Нам ие иадо твоих подарков, — зло сказал капитан.

— У меия жеиа работала в музее Пушкииа иесколько лет, — сказал Писатель. Ои уже чуть оправился, ио было все равно еще очень страшно — и от иепоиятиости этой злобы, и от всевластия тех, кто злился. — И музей Пушкииа получает в подарок экспонаты со всего Союза. (Причем тут музей? — с ужасом подумал он.) Что же тут особеииого — лучше ведь пускай читают, чем сидят на бревнах, когда свободны.

Он хотел еще добавить, что колоиия по изваиию исправительиая и что лучшего, чем кииги, ои ие зиает для целей исправлеиия, ио сообразил замолчать.

— Это иам поручеио знать, что лучше, — гневно и презрительио сказал Овчиииников, и рука его крепко сжала ключи. — Иди. Я ие буду тебя иаказывать. А все кииги мы отошлем обратио. И еще посмотрим, за чей счет.

— Можио за мой, — сказал Писатель. — Пожалуйста.

И таков был, иитересно, иаш общий страх, что мы прекрасно поиимали Писателя, когда ои рассказывал иам, что совсем ие обиду ои испытывал, выходя из штаба, и ие злость иа этот взрыв самодурства, а огромное душевное облегчение, что все выясиилось и ие обериулось хуже. Тои иачальства и сама атмосфера были такими, что худшего следовало ожидать.

— В чем тут дело? — спрашивал Писатель вечером, когда мы, раздобыв заварку, чифирили. — Ну, решили оии, что я получил какие-то злокозиеииые кииги из какой-иибудь враждебиой разведки. Идиоты могли решить имеиио так. Взял, мол, и заслал пропагаиду. Хотя все кииги видел замполит, когда получал посылку. Убедились теперь сами. Но откуда такая злость? Я ведь и не требовал благодариости, хотя мог ее ожидать. Но

откуда этот взрыв негодования? Достоевского сюда бы хорошо, это явно что-то темное с их психикой.

— Почему же? — возразил Бездельник. — А по-моему, очень ясная логика и простой душевный порыв: да, мы нищая зона, и нам не на что купить книги, но пускай этот жид из Москвы не выебывается со своим благородством.

— Думаю, что так, — сказал Деляга. — И не надо усложнять их души. Темноты там много, но несложной.

— А быть может, — сказал Писатель, после пережитого страха вновь вернувшийся к склонности усложнять, — это в них говорит вообще вражда к книгам?

— Да навряд, — усомнился кто-то. — Книги-то у всех у них есть. И библиотека здесь была, но раскрадена. Ведь они же ее и разобрали, мне библиотекарь говорил. Просто он боится им напомнить. А они еще берут почитать, если что-нибудь у нас видят. Уж не знаю, читают ли, но берут. Потому и книг на зоне нет. А попадают.

Он был прав — не помню кто, сказавший это. Потому что книги эти так и не вернулись домой к Писателю, офицеры растащили их по домам. А вторая пришедшая посылка — сразу была отправлена обратно. Без единого какого-нибудь слова. Много позже написала об этом жена Писателя. Тоже спрашивала — в чем тут дело? Только он ей объяснять ничего не стал, потому что письма с некоторых пор мы писали очень сдержанно и ни о чем. Тут сказался урок Бездельника — он попал в непонятное из-за писем. Только это уже — другая история.

А пока мы отучались от того, чему нас учили всю жизнь, от стремления безоглядно спешить с добром. Преуспеет ли зона в своих уроках? Пока не знаю. Очень этого боюсь, признаться. Ибо ясно вижу, что намного осмотрительней сделался я в порывах, ранее машинально мне присущих. Что сложнее, кстати, но разумней. Или это говорит во мне лагерь?

Замечательное понятие — гонки — навсегда мне подарила зона. Или я услышал его раньше? Да, конечно, в Челябинской пересылке. Что-то я спросил у приятеля, он не оглянулся, задумавшись, а сидевший рядом наркоман Муса сказал:

— Не слышит. Гонки у человека.

(Кстати, чтоб не забыть о толстом, немолодом и постоянно грустном башкире Мусе. Он после суда был оставлен при тюрьме в обслуге и работал в столовой. Безупречная честность Мусы резко выделяла его среди кравшего все подряд

персонала вольных, и начальство очень им дорожило. Он охотно соглашался работать по две смены подряд, если было нужно, и ему обещали условно-досрочное освобождение. Но прошло полсрока — полтора года, и освобождение все откладывалось и откладывалось. Наконец ему по секрету шепнул кто-то из тюремных офицеров, что его потому не освобождают, что он безупречно честен и работает прекрасно и безотказно — где они найдут такого же другого? Он очень долго это рассказывал как-то ночью, заново свою обиду переживая и немного побаиваясь лагеря, куда, по его письменной просьбе, его теперь отправляли, чтоб досиживать полностью свой срок. А потом, я уже спал давно, вдруг он разбудил меня и зашептал горячо:

— Слушай, ты меня, быть может, не понял? Я хочу тебе сказать, что честный труд — ни в коем случае нельзя, нам от этого всегда только хуже.

Я его успокоил, что прекрасно понял его и что я об этом сам уже догадывался давно, так что пусть он совершенно не волнуется за меня.)

Так вот гонки — понятие, ничего не имеющее общего со спортивным смыслом этого слова. И нет общего у него со словом "гнать" (тоже из уголовной фени), означающим, что человек что-то утверждает — гонит. Или следователю гнет свою версию, или в споре отстаивает что-то, или вообще рассказывает. Гонит. Но бывает, очень часто здесь бывает, — ясно видишь, как тускнеет и уходит человек в себя. От общения уклоняется, не поддерживает разговор, нескрываемо стремится побыть в одиночку с самим собой. (Что на зоне вообще очень трудно, и от этого сильно устаешь, часто хочется — особенно, если привык, — побыть хоть немного одному.) Что-то думает человек тяжело и упорно, что-то переживает, осмысливает, мучается, не находит себе места, тоскует. Сторонится всех, бродит сумрачный или лежит, отключенно глядя в пространство, но вокруг ничего не видит, вроде и не слышит тоже. Гонки. Это после свидания с родными почти у всех бывает, это вдруг из-за каких-то воспоминаний, это мысли могут быть пустячные, но неотвязные. Гонки. После писем у многих гонки. И внезапные, беспричинные — от обострения вдруг чувства неволи. Не из лучших и очень странное состояние. У меня они от писем были. И чем лучше, чем роднее были письма, тем острей были недолгие гонки. Долгие — суток двое — были у меня после свидания. Лишь испытав их сам, я перестал пытаться выводить приятелей из этого состояния. Потому что только

хуже от вмешательства. Необходимо переболеть самому. Или история нужна какая-нибудь, чтобы отвлекла и встряхнула. Так вот у Бездельника случилось.

В понедельник утром, в середине сентября, в дождь прибежал за ним стукач и подонок, шнырь штаба. Кстати, был он раньше завхозом карантина, до сих пор я помню, как он петушился перед нашим неподвижным строем измочаленных этапом зеков. Угрожал, болтал нам что-то о дисциплине и карах, очень хотел к чему-нибудь придраться. На его предложение задавать вопросы вдруг отозвался какой-то зеленый мальчонка, даже странно было, что уже он не малолетка и что такой еще дурак наивный. Он вдруг спросил, по-школьному подняв руку, можно ли будет на зоне доделать татуировку, начатую им в тюрьме. А запрет на татуировки — категорический: в случаях, когда кого-нибудь ловили, то и художника, и желающего украситься опускали немедленно в изолятор. И такой вдруг вопрос, все засмеялись. А этапник этот, Иван его звали, выволок мальчонку из строя и очень ловко, умело и с удовольствием жестоко перед строем избил. Весьма картинно при этом надев предварительно замшевые перчатки. Только было это не утолением его жажды проявить власть, а еще в этом расчет был, какой — я понял через час, когда нас по одному вызывали в его комнату, где жил он и двое его подручных шнырей. Вызвав, отбирали они все, что сохранилось после этапа и шмона в лагере, когда нас принимали. Отбирали они опытно, лишь у тех, по кому видно было, что жаловаться не посмеет. (Две недели спустя, кстати, я первую в жизни кражу совершил — в их комнату без них попав однажды случайно, вытащили мы с приятелем из стенного шкафа большой пакет махорки, который они у нас же и отобрали. И не жалею. А тогда вообще был счастлив.)

Да, так вот потом Ивана этого перевели за что-то в шныри (а они, лагерные добровольные полицаи, вечно друг на друга доносы писали, стучали устно и через знакомых подсиживали, если хотели на чье-то место сами попасть), и теперь он прибежал звать Бездельника. В оперативную часть, что добра отнюдь не сулило. Там сидели двое лейтенантов. Сразу же с порога спросили:

— Что это за письма ты домой пишешь? Вот, вернула цензура. Что здесь, мол, маленький убогий поселок при лагере, что медвежий угол и болото, что дожди и холодно, что осеннее у тебя настроение. Охуел ты, что ли? Мы его тебе сейчас мигом поднимем!

Лейтеиантам было вместе чуть помеиьше, чем одному Бездельиику, ио ои был зек, ои понуро стоял перед иими, сняв шапку, и смиреиио отвечал иа вопросы.

— Так поселок ведь и правда здесь малеиький, граждаиии иачальиик. А что медвежий угол, это образ такой, ие миой придуман. Мамии-Сибиряк, должио быть, сочинил. Еще в прошлом веке, стало быть. А что холодно и дожди, и иастроеиие — что ж тут страшиого? Я ие поиимаю.

— Посидишь в изоляторе — поймешь, — сказал лейтеиаит. — Не хуя писать про настроение. Оно у тебя должио быть бодрое. И иа погоду ие хуя клеветать.

Тут ои покосился на окио, за которым лил и лил — уже пятые сутки хлестал — холодный дождь. И с усмешкой посмотрел иа Бездельиика.

— Для исправлеиия полезио, — сказал ои. — Понял? А расписывать про это в письмах запрещеио. Поиял?

Тут Бездельиику показалось, что ои поиял главиое — в изолятор его ие упекут, н ои с искреиией живостью сказал:

— Коиечио, граждаиии иачальиик. Давайте мие это письмо, я его пущу иа сортир, а сейчас напишу другое. Что у иас тут тепло и солиышко, что цветы иа зоне разводим, а в субботу — киио для всех, н настроеине вполне отличиое.

Тут мгиовеиио перед иим успел промелькиуть одобрительио кивающий образ бравого солдата Швейка и еще почему-то институтский воеирук, часто говоривший к общей потехе, что "дела идут у иас отличио, даже, можио сказать, удовлетворительио".

Лейтеиаит, однако, иичего про Швейка ие зиал, ибо идиотом ие обозвал Бездельиика. Но и ие рассердился.

— Про цветы лишиее, — снисходительио ответил ои. — А письмо иапишешь после изолятора. Отправляйся сейчас иа вахту к дежуриому, и пусть ои тебя опустит иа пять суток. Постаиовлеиие я ему после иапишу.

— Да за что же? — грустио сказал Бездельник. — Я перепишу письмо, гражданин начальиик.

— Сдуло! — закричал лейтенант, свирепея и привставая со стула. И второй поднял голову от бумаг. И Бездельиика мигом сдуло в коридор. Тут ему пришла в голову великолепная спасительиая мысль. Раз в иеделю ои писал по заказу замполита доклады для офицеров лагеря. Это были краткие выжимки из газет, страниц иа пять из тетрадки, чтоб читать их по отрядам в четверг, иазиачеииый для политического просвещения.

Зекам же самим, кто пограмотней, эти доклады и заказывались в каждом отряде. А для трех или четырех отрядных офицеров их писал по средам Бездельник. Он писал всего один экземпляр, а потом его превращали в три или четыре красивым почерком, чтоб офицеры свой доклад могли прочесть, не запинаясь. И Бездельник сразу помчался в кабинет майора Тимонина — это был, кстати, единственный в лагере офицер, приглашавший зека сесть при разговоре, никогда не бивший никого и вообще человечности не утративший, отчего странно очень выглядел среди других. Думаю, что именно потому, дослужившись до майора, был он всего-навсего замполитом в захудалом таежном лагере, где его начальник был по чину только капитан. Этот майор и разрешил тогда Писателю книжную посылку, но был в отъезде, когда поднялся скандал.

— Разрешите, гражданин майор? — спросил Бездельник и, войдя, даже не доложил по всей форме, что осужденный такой-то явился и просит разрешения обратиться, а сразу же, просто поздоровавшись, сказал:

— Гражданин майор, никак я не смогу к четвергу доклады написать, потому что меня лейтенант Решетников опускает вниз на пять суток.

— Это за что же? — спросил майор приветливо. И кивнул головой на стул. Но Бездельник не стал садиться, тут был натиск нужен и поспешность. Быстро и четко объяснил он, что плохое было настроение, и что правда ведь льют дожди, и что выйдет он теперь только в субботу из изолятора, потому что понедельник сегодня, и доклад уже напишет только следующий, а этот не напишет он никак.

И майор Тимонин, по-отечески задумчиво глядя на него, сказал именно то, на что рассчитывал коварный зек Бездельник:

— Ты иди сейчас обратно в отряд, бери газеты и готовь доклад, я поговорю с лейтенантом, и на первый раз тебя простим. Потому что никак нельзя переносить или откладывать день политзанятий. Свободен.

Как на крыльях, шел Бездельник из штаба. А что были у него вчера гонки, вспомнил только вечером и со смехом.

Но с тех пор никогда, никогда, ни разу не сгущались тучи над поселком Верхняя Тугуша и не лили дожди, не дули ветры, а сплошное сияло бодрое солнце. И поэтому все письма наши доходили до адресатов.

А про гонки я здесь должен добавить, хотя мерзость, из-за

которой оии меия постигли, было б лучше забыть совсем, но я дал себе тогда же честиое слово, что себя накажу разглашеиием.

Тоже в поиедельиик это было, когда утром сам себя я поймал с поличиым на подло быстром шевелеиии души, вдруг иачавшей реагировать иа жизнь по-лагерному. Вялые еще после сна, очень мятые (привозная здесь у иас вода, умывались ие во всех бараках, а пока мы жили в клубе, где ие было умывальиика, — вообще почти иикто ие умывался), сразу прохвачеииые на пороге холодным ветром и промозглой сыростью, толпились мы возле дверей, ожидая очереди идти в столовую, чтобы сразу после иее плестись на развод. Трое ребят сказали бригадиру, что оии сегодия работать ие пойдут, их вчера освободили в саичасти.

— Я что-то ие знаю, — сказал ои. Остальиые подтвердили. Да, вчера, когда все былн на осмотре (в лагере свирепствовала чесотка), этих трех освободили от работы иа иеделю.

— Ну, тогда саиитары отдали ваш список иарядчику, дело не мое, ваше счастье, что заболели, — пожал плечами бригадир.

И виезапио явствеиио я поймал себя иа остро вспыхнувшей иеприязии к этим троим, иа желаиии поспешить, вмешаться и сказать, что вчера я тоже там был, и что это просто им велели всю иеделю после смеиы ходить в санчасть мазаться дегтем, и что иикто, иикто, иикто их ие освобождал от работы. Похолодев и весь обмякиув, ослабев, я стоял и с ужасом вслушнвался в себя. Что за подлость, откуда оиа во мие, что за дело мие до того, что им повезло или просто оии пытаются закосить? Все равио ведь, если иарядчику дали список, то они освобождены, если же ие дали, то за нимн сбегают в барак, и хорошо, если только обматерят за задержку развода. Причем здесь я? Отчего так остро и гнусио захотелось мие, чтобы всем было так же тяжело, как мне, отчего так взбурлила во мие эта грязь, когда кому-то удалось ускользнуть? Мие от их отсутствня, кстатн, ие прншлось бы ннчуть трудней, мы иа разных работали местах, оправдания ие было и в этом. И ужасио муторно мие стало от короткого порыва к чисто лагериой подляике. Да, я вжился в местиую жизнь, это было ясио теперь. И смотреть за собой иадо было куда виимательией. С этим я и вышел иа работу. Заодио убедившись на разводе (иарядчик кричит фамилню, отвечаешь имя-отчество свое и проходишь вперед), что и впрямь освободили их в саичасти — по кошмарио

запущенной чесотке, просто мест пока не было, куда их класть. Да какая мне теперь была разница.

И, пожалуй, сильнее гонок не было у меня на зоне. Только разве после свидания с женой. Но тут были другие причины.

ГЛАВА 2

Здравствуй! Или добрый вечер, скорее. У тебя ведь время на четыре часа меньше нашего, здесь ночь уже — значит, у тебя только вечер. Наконец-то я сел, чтоб написать тебе подробное и длинное письмо. Знаешь, я сижу сейчас и тихо радуюсь заранее, что смогу его тебе написать. О том, как я люблю тебя и как по тебе скучаю. Напишу открыто и раскованно, не боясь, наконец, что письмо это будут читать чужие люди с липкими глазами. Кроме цензора (здесь это, кажется, женщина), письма мои читают в оперативной части — если бы ты знала, как это мешает мне писать их тебе! Ты ведь тоже от присутствия чужих замыкаешься, а насколько чужие здесь, ты себе вряд ли представляешь. Но, по счастью, до этого письма они не дотянутся, и я спокойно могу писать тебе, как я тебя люблю. Знаешь, ты не обижайся, я очень мало скучаю о тебе как о женщине — здесь об этом вообще забываешь, но тем более я здесь ощутил, как ты жизненно мне необходима, как душе моей нужно твое присутствие. Очень я тебе благодарен, что ты есть и что ты такая, как есть.

Я уже вполне освоился здесь, отстоялись чувства и ощущения. Ты просила меня, когда была на свидании, рассказать о лагере подробней — я отделывался шутками и уверениями, что ничего здесь нет интересного, да и страшного ничего не происходит. Ну конечно же, я врал тебе. Знаю ведь я твою впечатлительность, видел, в каком ужасе ты была только от вида поселка, от железных ворот лагерных, от решеток, сквозь которые проходила, сдав паспорт, и от встречных морд офицерских (да и наших, разумеется), от всего этого дома свиданий, как называется он официально. А вполне была пристойная у нас комната, правда? Спасибо тебе за эти сутки. Очень только тяжко было, когда расстались. Вспоминал почему-то твои волосы — как старательно ты их закрасила, ко мне собираясь, чтоб исчезли седые пряди. Словом, так я тебе ничего и не рассказал. Но сейчас напишу подробно. И не буду вовсе опа-

саться испугать или расстроить тебя, и спокойно хвалиться буду, если к слову придется, и пожалуюсь на что-нибудь, расслабясь, ну а главное — опишу, как живем. Безо всяких скидок на цензуру, потому что я не буду отправлять это письмо. Сейчас не буду. Хотя многим обзавелся уже на зоне, в том числе — и возможностью отправить письмо мимо цензора, я еще воспользуюсь ей. Ну, а это письмо пока оставлю. Обещаю тебе, что сохраню его до воли и вынесу, ты его тогда прочтешь, но уже тебе не будет страшно. Очень мне не хочется тебя волновать, очень больно думать, что от меня, и только от меня — все твои неприятности последних лет. Знаешь, интересно, что чувство вины перед близкими очень обостряется в неволе — отсюда, наверно, такое количество покаянных сентиментальных песен, обращенных к матерям и подругам. Я это испытал сполна. Знаешь, лежишь на нарах, и плывут на тебя, неотвратимые, как галлюцинации, разных лет и разных масштабов сцены тех обид и горестей, что я тебе причинил. Зримые, будто прокручиваешь кинопленку. Интересно, что мелкие ранят еще больней — ты наверняка забыла большинство, я и сам был уверен, что забыл, — оказалось, что прекрасно помню. Мелкие до глупости случаи заставляют чуть ли не стонать, так остра их отразившаяся эхом боль — через много лет вдруг всплывающая. Ну, к примеру, ты не помнишь уже наверняка, как мы шли с тобой однажды в гости и условились встретиться у метро: очень было холодно, я опоздал минут на сорок, ты стояла. Нет, один раз у метро такое было, а второй раз — у подземного перехода через Садовое кольцо, даже помню, куда мы шли. Было это лет восемь тому назад, а то и больше. Вспомнил тебя съежившуюся, скорей расстроенную, чем злую, вспомнил, как что-то врал тебе, а ты видела, что вру, но промолчала. Просто так опоздал, по расхлябанности. Если бы ты знала, как плохо было мне в тюрьме от этого глупо всплывшего воспоминания. Тебе наверняка будет смешно это читать, а я и после не смеялся, вспоминая, — такую сильную и острую ощутил я боль в ту ночь. Да, в основном ночами, в полудреме плывут такие воспоминания. А Танька! Я просто воочию видел, как тащил ее, трехлетнюю, в детский сад десять лет назад. Было холодно, ранний полумрак, снег, в котором она вязла и плакала, просясь на руки, я же, идиот-воспитатель, все не брал ее и еще ругал. Так зареванная она и приходила в свой садик. Это все от теории дурацкой, что нельзя, мол, баловать детей. Можно! Очень нужно баловать их. Изо всех сил,

чтобы детство вспомниалось им как счастье — сплошиое светлое счастье в облаке родительского тепла. Только иас ведь ие учили этому. Смутио я что-то поимал — помиишь, я еще сказал, что садисты — это родители, отдающие детей в сад? Оба мы глупы тогда былн, но свои промахи я здесь вспомиил явствеиио, как вчера.

Ладно, я отвлекаюсь все время. Дай-ка я расскажу тебе о лагере. В Красноярске в пересыльиой тюрьме с иамн сидели ребята уже из этого, красиоярского куста очень многочислеииых лагерей. И о иашей будущей двадцать восьмой зоне говорили онн с брезглнвостью и отвращеиием. Почему — я ие мог добиться толка. Я просил их, чтобы виятио объясиили, ио они мие отвечали очеиь кратко: беспредел. Это слово я, положим, знал еще из подмосковиых тюрем; озиачало оио, что бьют и вообще своевольиичают либо меиты-охраииики, либо свои же зекн, либо те и другие. Произвол. Ну, а кто его творит иа двадцать восьмой зоие, свои или менты? Те н другие, отвечали мие. Отинмают посылки, бьют, забирают крохн, куплеииые в ларьке, заставляют вкалывать иа промзоие. Кто, меиты? Да иет, свои же, зеки. Как, и вкалывать свои же заставляют? Поезжай, увидишь, разберешься. Зоиа ведь ие зря так изваиа — лютый спец. Это было что-то иовое, пугало очеиь и иитриговало чрезвычайио, ты ведь зиаешь мое щеиячье любопытство. И еще мне говорили в Красиоярске, что объявлена давио двадцать восьмая — сучьей зоиой, потому что все стучат друг иа друга, помогая меитам хозяйиичать, все святые поиятня зековского бытия спутаиы, испоганены н запущены. Для меия это было тумаиио, ибо я еще и с поиятиями ие был зиаком, так что раио мие было горевать об их оскуденин. Настораживало только полное неумение собеседников (ие косиоязычиых, отнюдь) объясиить мие, что это за понятия. Поживешь — увидишь, отвечали оии уклоичиво. И успокаивали сразу: ты там ие пропадешь. Почему? А ты мужик иехуевый (это очень, дружок, поверь мне, высокая похвала). А расспрашивать подробией было тяжко: в камере стояла дикая жара и духота, нас там было человек восемьдесят, а рассчитана клетка человек иа тридцать, и все время перебои с водой. И еще боялся я расплескать впечатлеиня дороги н тюрем, так что я часами их в уме перебнрал, чтоб не забыть. В том числе и красиоярские тоже.

Нас водили когда там иа прогулку, со второго этажа мы шли на первый, а иа завитке в пролете лестинцы стояла там

овчарка иа площадке. Молодая очеиь, судя по виду. Рядом с ией, чуть держа за ошейиик, стоял кто-иибудь из иадзирателей. Это так ее иатаскивали иа иас, иа иаш вид, иа запах запущенности, бессилия и страха, иа поиятиый ей, запомииающийся запах. И иатаска прииосила видимые плоды — две иедели я видел эту собаку, очеиь преуспела оиа в иеиависти и злобе. Первые дни она просто смотрела иа иас, от жары далеко вывесив язык, а спустя дией десять ее всю трясло от нашего вида, аж слюиа текла из-за клыков, и хрипела оиа от ярости, и торчком стояла шерсть иа загривке. Отделяли ее от иас только перила лестницы и рука, чуть лежавшая иа ошейиике. Стыдно вспомиить, ио от злобы затрясло и меия, я их миого уже видел, этих собак, просто первый раз увидел, как их учат. Иитересио только, как ей подсказали, что идущие мимо — ее враги? Или это просто следствие многочасового раздражеиия — камер в тюрьме под сотию, так что шел поток с утра до вечера. Хорошо подготовили собачку. Собствеино, людей готовят так же. А теперь давай вернемся иа нашу зону.

Не серчай, что я так не по порядку, я и дальше все смешаю в салат, не случайио ведь я и из закусок больше всего люблю салаты и вииегреты. Как мие хочется выпить с тобой, если б ты зиала. Уложив детей, сесть иа кухие и выпить, ие торопясь. Покурить, обсудить иаши проблемы. Казавшиеся иам серьезиыми тогда, а сейчас — смешиые и пустые, как вспомиишь. Что мы будем обсуждать теперь, иитересио? Я ведь очень перемеиился, дружок.

Или это только пока здесь?

Все ужасио смещеио в этом простраистве и смещается в самих иас тоже миогое из того, что выглядело и казалось незыблемым. Ну, смотри, к примеру: я пишу это сейчас в санчасти, куда лег с температурой за тридцать девять — здесь типичиая болотиая лихорадка косит почти каждого зека, вот ие миновала и меия. Сделали мие пяток уколов, спала температура, спала мутиая хмарь, заливавшая голову весь первый деиь, я хожу, и уже все хорошо. И сдружился я с матерым иарушителем лагериого порядка, уже больше года не вылезает ои из штрафного изолятора, но еще здоров, как бык, только легкие вовсю хрипят — его и подияли сюда иеиадолго из-за легочной температуры. Этот Володя наполовину чеченец, наполовииу русский, чисто русской внешности, умеи очеиь, по характеру же — горский убийца. К иему ходит сюда иавещать его побратим и друг Джемал — ои осетии, тоже тип вполие откры-

тый и ясиый, ие приведи Бог быть иа воле их врагами. Познакомились и сошлись они на зоне, только не здесь, а где-то рядом, в Иигаше (это такой же точно лагерь, их полио тут). Как-то вечером собралось там в бараке десять земляков и договорились оии иазавтра запереться в здании школы и потребовать от иачальства перевести всех иа другую зону — к иим куда-нибудь, к Кавказу поближе. Но иаутро только двое из иих — Джемал и Володя — свое слово осмелились сдержать (очень мало оставалось другим досиживать, вот они и передумали к утру).

А Володя и Джемал забаррикадировались в школе так прочно, что начальство зоны, сообразив, что после штурма не оберешься шума и комиссий, предложило им мирные переговоры. Сам иачальиик и его зам по режиму, отослав остальиых охраииков, прошли в открытую им дверь. А Володя и Джемал тут же заперли дверь, и мгиовеиио испарился весь задор и пыл у иачальства. На столе у ребят иожи лежали, и они сели при офицерах демонстративно пить чифир — правда, предложили и им. Бравые эти два иачальиика очень вежливо отказались даже сесть и замерли, как рассказывал Джемал (он слишком прям и темен, чтобы сочинять), не шевелясь и звука ие произнося, а один из иих тихо, но очень сильно испортил воздух, из-за чего оба густо покрасиели. Слишком привыкли эти люди к согнутым и сломленным зекам, оттого они, собственно, и решились на такое легкомысленное геройство. Первым чуть опомнился начальник зоны (правда, Джемал с чисто восточной логикой утверждал, что это именно начальник испортил воздух, ио ему поэтому и стало легче прийти в себя) — он сказал, не уговаривая их и не торгуясь, что дает им честное слово советского офицера, что их требование удовлетворит и переведет обоих иа какую-нибудь зону в их края. Но до этого времени, сказал он, согласитесь посидеть в изоляторе, чтобы не был дурной пример другим. Сдайте сейчас ножи, разберите баррикаду из скамеек, убедитесь, как держит слово советский офицер.

Что им оставалось, как не поверить? Ведь безумная была, заведомо обреченная затея. Так они спустя два дня и оказались у нас в Тугушах, километрах в ста (если не меньше) от зоны, из которой думали попасть на Кавказ. Бить их, правда, побоялись — не из-за их буйволиной мощи, а из-за характера, непонятно страшного для начальства, избалованного российским покорством. Только знаешь, я отвлекся, прости, но я

хотел писать о прошлом этого Володи, с кем сейчас я играю в шахматы, пью чифир, обсуждаю свои дела и общих знакомых с зоны, и приятельством чьим очень дорожу, ибо он не просто интересен, а весьма симпатичен мне. Так вот о том, что привело его сюда.

Года два назад в Енисейске был ограблен один странный нищий старик. Да, да, нищий старик, я совсем не оговорился и не ошибся. Да еще запойный к тому же. Он с утра отправлялся к магазину с дряхлой сумкой, всем известной в районе. В сумке был стакан, буханка хлеба и банка с солеными грибами. Всем, кто скидывался выпить, он предлагал стакан, хлеб и по два грибка на закуску. А ему за это отдавали бутылку и еще на донышке оставляли. К вечеру он напивался вдребезги и, понурясь, брел домой, в удачный день еще что-то неразборчиво напевая. Вот его-то у магазина подстерегши, двое молодых парней соблазнили выпить у него дома, а не возле магазина, как обычно. После этого через день он подал на них заявление в милицию, что они напали на него, напившись, били, требовали какие-то несуществующие деньги. Он их имен не помнил, только описал внешне и сказал, что у них не русский выговор. Их искали, но нашли только одного — Володю. А второго отыскал сам старик и, несмотря на дряхлость и многолетнее пьянство, очень грамотно всадил в него нож и успел скрыться, хотя его узнали все у магазина, где это произошло. Из дому старик исчез — а что его утопили в Енисее, до сих пор никому не известно, потому что тело не всплыло. А того, кого разыскали — Володю, — судили после долгого и бесплодного следствия, но настолько было темное дело и столь глупым казалось бить нищего старика, что сочли это бредом старческим, но поскольку и старик сам убил человека, и за всем этим явно было что-то темное, дело повернули на хулиганство, и Володе дали три года, меньше никак не получалось, явно пахло чем-то грозным и крупным. А еще два Володиных приятеля — те как раз, что поймали старика после убийства и доволокли до Енисея, имели глупость предложить следователю деньги, а потом — и судье, это только усугубило дело, а то вовсе его, быть может, отпустили бы.

Дело было очень простое. У запойного рваного старика был под бочкой с теми самыми деловыми грибами небольшой тайник, а лежали в нем — ни больше, ни меньше — двадцать тысяч крупными купюрами, главное же — где-то рядом было еще спрятано и золото. Если от чего страдал старик всерьез — то

от граничащей с безумием скупости. Никаких не находил в себе сил, чтоб начать проживать запас — согревала ему, видно, душу самая цельность, неразменность сокровища. Много лет назад крал он золото где-то на окрестном прииске, кто-то знал и навел грабителей. А кто именно, Володя сам не знал, а скорей мне не говорил.

Старик этот, когда распили две бутылки, стал слезливо жаловаться на какую-то давнюю обиду, причиненную ему советской властью, но едва его спросили о деньгах, отрезвел мгновенно и начисто. Здесь вот прояснится сейчас и облик моего близкого сегодняшнего приятеля.

Они стали бить старика, но побои нисколько не помогли. Угрожали ножом и пистолетом. То же самое. Тогда на грудь ему поставили и включили электрический утюг. И уже запахло паленой кожей, когда он яростно замычал — кляп во рту не давал ему кричать. Он повел их и показал тайник с деньгами. А добиться золота не успели — по двору стали ходить соседи, возвратившиеся с работы. Подавая заявление в милицию, ничего старик об отданных деньгах не написал и об утюге промолчал, так что выглядело это все вымогательством у нищего алкоголика (кстати, было ему чуть за пятьдесят, здесь ведь и меня не раз называли дедом).

Собственно, историй здесь таких десятки излагают подобных, страшная лишь деталь — утюг. Ставил же его, как ты уже догадалась, мой теперешний приятель Володя. И сама идея, что очень важно, тоже именно ему пришла в голову, потому что его друг, ныне покойный (старик его зарезал) Зелимхан (замечательное имя, правда?), говорил, что ему надоело, пристрелим старика и пойдем. Но Володе пришла в голову идея.

Ты когда-нибудь могла полагать, что с таким человеком я сойдусь — и даже буду чувствовать приязнь? А я сам — мог предполагать? А как выглядели в нашем воображении такие звери? Извини, впрочем, — в твоем они выглядят по-прежнему и сейчас, а в моем — но о моем и разговор. Ты поверь мне, на слово поверь, — это очень симпатичный человек. Из немногих, с кем тут можно дружить. Офицеры, кстати, что пестуют нас здесь, — все до единого могли бы такое сделать, но в них мне все понятно, а в Володе — ты бы видела его улыбку и лицо его, когда от жары у меня разламывалась голова, и он таскал мне, смачивая водой похолодней, носовой платок на лоб.

Ну, оставим это, все равно не объясню, потому что здесь и мне все непонятно. В большинстве же тех, кого узнал я тут, — поражает ничтожество их, убогость и темнота, не преступники здесь сидят, а несчастные. Это полностью относится и к блатным — хозяевам и героям зоны, высшей касте в сложной лагерной иерархии. Со многими я познакомился близко. Ты, наверно, хочешь спросить — каким образом? Или не хочешь, помня, как легко я сходился с людьми на воле? Но тогда я похвалюсь тебе сам. Это не просто, ибо гонор их чрезвычаен, подозрительность острейшая (не стукач ли?), удивительное (и смешное, глядя со стороны) ощущение своего превосходства, значительности и посвященности. От мальчишеской, главным образом, глупости и петушиного зеленого задора.

Очень грустное, страшное чрезвычайно, главное же — разочаровывающее впечатление от близкого знакомства с блатными. Тот привлекательный образ вора или жулика, тот романтически-черный образ бандита, что вынесли мы все из читанных в детстве книг, он незримо витал, конечно, над моими здесь ожиданиями. Встретился же я — со множеством мальчишек, самая разнокалиберность, несхожесть, полная разнохарактерность которых не давали ни малейшего основания, чтобы видеть в них некое единство. Да еще единство с уважительно звучащим названием — блатные, о которых столько рассказывается в тюрьмах. Что же все-таки общего было у них у всех? Агрессивность? Не больше, чем у прочих. Или ненамного больше. Отвага, то преступное мужество, что делает столь привлекательным образ преступника в кино? Есть немного, это есть. Потому что именно блатные все-таки единственные, кто живет в лагере, не смиряясь с его режимом. Это они организуют себе время от времени перекиды — когда ночью через забор летят продукты и немедля их надо подобрать и пронести, с полной готовностью попасться, вынести побои и отсидеть в штрафном изоляторе. Только это мелкая смелость, тоже мальчишеская вполне, что же им еще надо иметь, чтобы к высшей касте лагеря принадлежать? Ум? Наоборот! (И это очень важно.)

Странной мне сперва показалась фраза одного очень хорошего человека — лагерного нашего хирурга, вольнонаемного врача, сделавшего даже карьеру некогда, но спившегося потом и сюда опустившегося, как на жизненное дно. Он спросил у меня, знакомясь, появились ли уже блатные в нашем только что возникшем отряде. Я чуть удивленно ответил, что отряд наш —

сброд испуганных или хорохорящихся сопляков, и не в лагерь их надо было сдать, а просто высечь в домоуправлении при соседях. Потому что большего наказания ни их преступления, ни их характеры (в смысле грядущей опасности для общества) никак не заслуживали. Появятся у вас блатные скоро, сказал хирург. Они ведь появляются, как вши, — сами, неизвестно откуда. Я в ответ усмехнулся недоверчиво. Через месяц я убедился в полной правоте этого грустного доброго человека. Тут и мелькнула у меня мысль, быстро обросшая мелкими доказательствами, или скорее ощущениями. Я не смогу их описать, просто не умею это делать, так что лучше сразу объясню суть моей сложившейся убежденности. Кстати, чуть о важном не забыл: выдающаяся сила — тоже вовсе не обязательный для блатного признак. Очень средние, порой даже плюгавые ребята. Раз видел я, как за бараком худосочный мелкий мальчонка бил здорового и рослого парня, тот ему и не думал сопротивляться, только что-то бормотал, прикрывая лицо руками. Некое, значит, право знал избиваемый за этим хлюпиком в черном костюме блатного (мужики носят серый — тот же самый материал, но цвет стал знаком касты).

Право силы знали оба, очевидно, никаких других они не понимают прав. Кто же дал право силы хлюпику в черном?

Коллектив.

Да, да, да, коллектив, то человеческое единение, о котором веками со сладострастием твердили гуманисты всех мастей и направлений, на него возлагая надежды в построении замечательного светлого будущего. Коллектив. Община. Артель. Мафия, если хочешь. Партия.

А когда я это сообразил, сразу все стало на свои места. Потому, кстати, с каждым в отдельности блатным очень трудно и странно разговаривать. Он мужик как мужик (в смысле кастового понятия: мужики — это те, кто не блатные, вся лагерная масса зеков), он ниже среднего — по уму, по развитию, по всему. Ниже среднего — вот что очень важно, он ничто без своего коллектива. А когда они все вместе — то хозяева. Очень грустным и очень мерзким оказалось это сплоченное единство, так что только любопытство понукало меня с ними общаться. Западло работать, если ты блатной, и боятся бригадиры их принуждать, но зато не западло им вместе заставлять работать мужиков — кулаками, палками, чем придется. Как только попросит их об этом бригадир или кто-нибудь из вольного начальства. И в бараке за порядком и послушани-

ем наблюдают очень тщательно блатные, выполняя функции надсмотрщиков и внутренних полицаев, только сами они это не осознают. Потому что убежденно полагают, что мужик должен работать и молчать. Почему? Я рискнул это спросить не однажды. Пожимали презрительно плечами. И презрение это поровну относилось к мужику и ко мне, кто спрашивал, потому что я не мог, как видно, сам понять простейшие вещи, а мужик — он позволял с собой такое, потому ведь и мужик он, а не блатной. Большего я добиться не мог, да и не надо большего, мне кажется. Позволял с собой мужик такое и тем самым плодил себе хозяев.

Их немного было в каждом отряде — человек по двадцать, не более. И везде они отдельно жили, лучшую комнату в бараке забирая или как-то еще отгородившись, если позволяло помещение. Сами они жили семьями, человек по пять в семье, и в каждой был негласно старший, но все семейники друг за друга отвечали, если что случалось. Смысл был и в этой ответственности, и в опоре коллективной, если драка, и в дележке поровну всего, что удавалось добыть вдобавок к казенной пайке.

Слушай, а тебе не надоело это все читать про наш лагерь? Может, лучше рассказать тебе какую-нибудь воровскую историю? Я их много слышал здесь и в дороге. Мы давай с тобой поступим вот как: я сейчас закончу о кастах лагеря (мне уже немного осталось), а в другом письме расскажу тебе что-нибудь сугубо преступное. Ладно? Знаешь, очень мне приятно делать записи в форме писем к тебе, у меня ощущение, что я рассказываю это все тебе лично, а ты сидишь, как бывало, напротив и покорно слушаешь мою чушь. Спасибо тебе за доброту, очень ты настоящая женщина. И послушай дальше, пожалуйста, мы пришли с тобой к нижним ступенькам лагерной иерархии.

Чуханы — это опустившиеся мужики. Это те, в ком не хватает сил и духа — даже, чтобы содержать себя в чистоте. Интересно, кстати, — не отсюда ли бытующее на воле слово зачуханный? Или наоборот — не от него ли слово чухан? Не знаю. Но звучит оно очень выразительно. Это и оскорбление в разговоре, если хочешь кого-нибудь оскорбить (хотя главное оскорбление — козел, уж не знаю, причем тут это симпатичное животное), даже есть такой глагол на зоне: зачуханить, довести до такого состояния, когда опустятся у человека душа и руки. Рваные, грязные, мерзнущие, понукаемые и презираемые, чуханы выполняют на зоне те тяжелые и грязные работы, на которые не шлют мужиков. От надрывного труда они катят-

ся дальше вниз. Это главным образом у чуханов развивается дистрофия или дикие вдруг идут нарывы по телу. Я здесь понял нечто очень существенное о таких крайних человеческих ситуациях: не в здоровом теле — здоровый дух, а наоборот — сильный дух охраняет и держит тело. Это чуханам начинает не хватать еды, и они готовы на что угодно за птюху хлеба, они лазят по ночам на помойки, чтобы собрать в целлофановые пакеты (вот единственный в их жизни знак двадцатого века) неразделимо слипшуюся гадость — выливаемые отходы и остатки. Лучше я не буду продолжать о них. Только их здесь чрезвычайно много, чуханов в разных стадиях распада и падения. И плохие у них очень глаза. Тусклые, мутные, отчужденные. Сразу видно, что надломлена коренная какая-то пружина.

Кроме работы на промзоне, кроме мытья полов, кроме стирки одежды для блатных, кроме приноса в барак воды, которую привозит машина, чуханы еще стоят на атасе. Это то же самое, что на стреме или на шухере. Ходит возле барака человек, словно привязанный на незримом длинном поводке, или стоит неподвижно на одном месте, невзирая на дождь или ветер, холод, снег или жару; длится это долгими часами. Атасник. Все его назначение — вовремя предупредить кого-то, что поблизости лагерное начальство. Страшная это мука — зимой, но атасники сезона не разбирают. Что угодно может происходить в бараке — просто дружеская встреча за чаем, но атасник все равно стоит. Потому что нам нельзя уходить из своего барака в другой, а кого застанут в чужом — пятнадцать суток изолятора. Иногда атасник выставляется на кого-нибудь конкретно: например, оповестить, если кто-то нужный блатному пройдет к себе в барак или в штаб. Только чаще всего это дозорные и часовые. На промзоне вообще без атасников не обойтись: кто-то должен загодя увидеть начальство, чтобы вовремя предупредить спящих или чифирящих в бындюге блатных — чтоб успели они встать и сделать вид, что участвуют в работе. Их нещадно бьют, атасников, если прозевают или предупредят поздно, и не менее сильно бьют, если потревожат зря, а начальство проходило мимо. Кулаками, сапогами, досками — здесь не разбирают, чем бить. Окровавленные приходят они в санчасть. Что случилось? — спрашивает врач, зная заранее одинаковость ответов. Споткнулся, упал, расшибся. И застывшее в их глазах покорство, и животный затаившийся страх.

Выставляют еще атасников всюду там, где делают масти. Несколько умельцев ежедневно работают на зоне в полной тайне

от охраны и начальства. Мастюшники. Масти — это все, что делается на зоне: изумительные по отделке выкидные ножи, мундштуки, трубки, браслеты, перстни. И даже коронки для зубов. Да, да, превосходные медные коронки. Тем же самым напильником, что точилась эта коронка, обрабатывается и зуб под нее. Ты бы видела, как это делается! Двое держат несчастного, терпящего ради красоты, пока мастюшник точит ему зуб напильником, а он корчится, потеет и мычит. Но при всей этой гигиене железно-каменного века я не слышал о каких-либо заражениях. Стоматолог, вольный врач из санчасти, — я спросил его специально — отозвался о таком протезировании весьма положительно. Чистят эти зубы пастой для медных пуговиц, но они — украшение и знак престижа. Черт его поймет, человека.

А все остальные масти, особенно выкидные ножи (превосходно отшлифованные вручную), пользуются большим спросом за зоной. Продают их там охранники или вольные шоферы, а блатным за это платят консервами, часто выпивкой, непременно чаем. Все оказываются довольны при этом — кроме того, кто делает это сам. Ибо сам мастюшник получает лишь возможность не таскать к пилам бревна и не катать баланы — заготовки шпал, малой частью перепадает ему чай, а работает он — с утра до ночи. В полном, подлинном смысле слова оказывается в рабстве каждый, кто умеет что-то делать и свою способность обнаружил. Ибо еще нещадно бьют его хозяева блатные, если он вдруг отвлечется, не уложится в срок, нужного не выдаст качества или вообще склонен трудиться медленно. Кроме того, особенные побои ждут его, если выяснится, что он что-то сделал на сторону, пачкой чая или сигарет прельстившись. Вот такая здесь жизнь у мастеров. Знаешь, кажется где-то у Достоевского — ну, скорей всего, в "Записках из Мертвого дома", — высказано горькое сожаление, что такое количество умов и талантов губится в тюрьме и на каторге, будто бы Россия специально себя сама решила обеднить. Нет, я не скажу насчет умов, но умелых ремесленных рук, изумительно одаренных природой — их на нашей только маленькой зоне было несколько десятков (это те, которых видно, которых знаю, а их намного больше, скорей всего). И работают они украдкой, тайно, добывая с трудом жалкий материал, под угрозой наказания изолятором, если обнаружится их занятие. Почему? Почему нельзя делать, например, браслеты и перстни из меди, мундштуки и трубки из дерева и пластмассы?

Это ведь никак не подрывает ннкакую монополию государства, это ведь н есть как раз те почтн умершне народные промыслы, о которых вопят газеты. Почему это здесь запрещеио, здесь, где должен нмеиио трудом исправляться и воспитываться человек? Не зиаю. Словио злобиый какой-то идиот сочинил однажды этот запрет, н он так н остается нерушимым. Найденные при шмонах изделия отбираются н бесследно исчезают. Как н сам матернал, еслн он попадается прн обыске в руки. А между тем, самн охраннннкн — нз тех, что подторговывают мастями, тайно приıосят иа зону этот материал. Вот такая замечательная здесь творнтся постоянно карусель.

Слушай, ты еще не устала от моего этиографического очерка? Я, как ты уже догадалась, — мужик. Но из тех, кого ие бьют, — не волнуйся. Да н сам не ударил никого ни разу, хотя, честно сказать, хочется иногда.

Но теперь о самом главиом, радн чего я все это писал, кроме удовольствия с тобой заочно поболтать. Удивнтельно (здесь иет ниого слова), как наш лагерь представляет собой страну в миииатюре. Все грубее, обнаженнее, конечно, многое смещено н чуть нначе. Но модель! Образ. Карнкатура. У блатиых на воле — черные "Волгн", а у нашнх — чериые костюмы. Но уверен я, что сходство взглядов, душевная мизерность н на все готовность — сходятся, как две удачные копии друг друга. А сплочеииость, круговая порука, замкнутость в своей касте?! Сила черных костюмов — в нх единстве, остальные — каждый сам по себе. А охраннннкн, онн только сиаружи, н блатные — позарез им нужны. Нет, не зря матрешка нзобретеиа имеиio в Россни: удивительно похож наш лагерь на свой величествеиный прообраз. И еще: тут борьба за должностн (со взятками, ннтрнгамн н доносамн) — такая пародия на волю, что хоть плачь. Я сказал здесь одному грузину: "Слушай, Дато, а ведь у иас в лагере стать заведующим баией так же трудно, кажется, как в Грузин стать, к примеру, директором магазииа?" Ои ответил, ие задумываясь: "Что ты, здесь гораздо трудией!"

Но отложим лагерь на потом. Я недолго здесь пробуду, я уверен. Эта мерзость вся иастолько ие по мне, что я чувствую, как и я ей чужеродеи. Я ие зиаю, как она меня нзвергиет, просто я уверен в этом. Лучше досиживать в тюрьме. Ты только жди меия, пожалуйста, и почаще думай обо мие. Ты себе представнть не можешь, как это здесь важно — знать, что иа воле о тебе кто-то думает. Ты не бойся, я с ума ие сошел, я прекрасио помию, что пишу, отсылать это письмо ие собира-

юсь. Просто очень хочется лишний раз написать, как я тебя люблю. Очень. И та мерзость, что я вижу вокруг, укрепляет во мне уверенность, что мы очень с тобой правильно жили, раз на воле так с ней мало соприкасались. Хорошо бы так и впредь удалось. Ты пиши мне, ладно? Очень жду. И еще: пожалуй, только здесь начинаешь понимать настоящую, подлинную цену своим близким, и себе самому, конечно, своей жизни, и многому другому, о чем просто нету времени поразмыслить на воле. В этом смысле я очень счастлив, что судьба мне подарила это время. Ну, пока. Я опять тебе скоро напишу. Если все будет в порядке, конечно. Здесь нельзя предвидеть свое завтра.

* * *

Свое завтра здесь предвидеть нельзя. Ну, а послезавтра? Да и стоит ли — предвидеть, планировать? Я вчера, закончив письмо, только мельком призадумался об этом, а сегодня получил в подарок историю, словно присланную мне в ответ.

Плотнику Косте лет пятьдесят пять, он совершенно лысый, маленький, сморщенное старческое лицо, зубы съедены цингой на Колыме еще лет тридцать тому назад. Он в те годы много сидел, но об этом говорит неохотно и мало что помнит почему-то. Потерял за зто время две семьи, так что сидит, очевидно, по третьей ходке. Ненадолго в этот раз, за тунеядство. Года уже два как бросил плотничать и сдавал бутылки, собирая их в Красноярске на стадионе. Зимой и летом уносил их по мешку после матча, хоть футбол, хоть хоккей, бутылки были. Получил за тунеядство год. Ни о чем не сожалеет, лучезарен. С ним приятно и странно разговаривать — он немного отрешен от жизни, хотя жил достаточно на свободе — был большой между отсидками перерыв. Только кажется, он чуть побаивается воли, будто нечего ему там делать и незачем. А уже скоро его сроку конец. Планов он никаких не строит. Когда вечером гомонят в бараке, обсуждая, кто куда пойдет после зоны, Костя слушает их с полуулыбкой. Надорвался? Безразличен? Я не знаю. У него довольно много специальностей: и на тракторе он может, и сварщик, и шоферские есть права, и слесарь. Но о будущем он не говорит. Снова бутылки собирать — опять посадят. Значит, что-нибудь надо соображать. Когда выйду, тогда соображу, ни к чему загадывать заранее. Как по-

лучится, так и будет. Вот он рассчитывал, загадывал, а где он ныиче? Это ты о ком, Костя? Ну, садись, Мироныч, присаживайся. Курить есть?

И удивительную рассказал вдруг историю. О человеке, загодя рассчитавшем свою жизнь.

Было это под городом Вяткой в большом, очень раскинувшемся поселке. Жили в нем отбывшие часть срока и вышедшие на поселение, жило много вольных, крупная какая-то варилась там стройка, даже было отделеиие госбанка. А при нем, как водится, дежурный милиционер. Даже не один, а несколько — посменно приходили они на пост, в комнатку, где спали часы дежурства. Ночью, разумеется, а днем — болтались у дверей. Один из них, некий Козлов, некрасивый, тщедушный и кривозубый, — был женат на отменной красавице, на высланной из Лениинграда тамошией потаскушке, Ирине. И сейчас, работая буфетчицей где-то на стройке, путалась она вовсю с кем попало, ио Козлов этот ей все прощал за ему перепадавшие ласки.

А еще там жил некий Иван Куща — отбывший долгие срока в лагерях здоровенный мужик лет шестидесяти, очень еще крепкий. Жил он там с женой и детьми, работал на стройке бригадиром, зарабатывал совсем неплохо и жил тихо. Но повадился ои ходить к Козлову, когда тот дежурил по ночам. Принесет бутылку самогона, разопьют они ее, из кисета Кущи белорусской махорки крепкой покурят — специально из родных мест ему присылали — и идет Куща домой обратно. Так проходит примерно с месяц, когда Куща говорит Козлову, что не думает ли тот, что ои поит его за просто так. Ну и я тебе поставить могу, говорит Козлов. Мне другое от тебя надо, говорит Куща. Мы давай с тобой очень просто разбогатеем. Сделай мне на пластилин слепки ключей от комнаты, где сейф, и от сейфа, и в ночь, когда привезут большие деньги, я этот сейф открою. Козлов иа этот ход подписался с легким сердцем, он давно свою Ирину с работы снять хотел, чтоб она там совсем ие истрепалась. И уже через неделю, ночью, вытащили они из сейфа все, что днем туда положено было, а всего — шестьсот тысяч. (Это было в пятьдесят, считай, седьмом или восьмом году, до реформы, так что на деньги ныиешиие им досталось шестьдесят тысяч — сумма крупная, да, Мироныч?) А договорились они сразу так: что Козлов прячет пока Кущу в чулан, где стояли веники и ведра уборщицы, сам сдает смену и спокойио идет домой, чтоб ему вовсе быть ни при чем. Куща тут вылезает, мочит его смеищика наповал и спокойно ухо-

дит сам, и еще час остается до прихода баиковскнх конторщиц. Деньги онн сразу унесли и упряталн в подготовлеииое место иеподалеку от банка. А когда вериулись, Куща спокойио и расчетливо всадил Козлову иож между лопаток, тот не нужеи ему был теперь ии как свидетель, ии чтоб деньги делить.

Утром поднялась паника. Поиаехала толпа сыскных меитов с собакамн. Но человек, убивший Козлова, ие оставил ннкакнх следов, даже сапоги его были предусмотрнтельно обмотаны бннтом, пропитанным соляркой — собаки отказывались искать. Перетаскалн многнх поселенцев, иесколькнх арестовалн даже, ио вскоре выпустилн. И через месяца два закрылн это дело полностью. Ннкто, инкто в поселке не знал даже, что к Козлову в иочное время кто-инбудь когда-ннбудь прнходил.

Кроме одного человека.

А спустя месяца три вообще все забыли о Козлове, и о краже тоже сталн забывать. А вдова Козлова, красотка Ирина, та пустилась во все тяжкие, дома у нее теперь дневали и иочевали кто придется, жизнь поселка продолжалась по-прежиему. Но однажды Иван Куща (иа него, кстати, даже теиь подозрения ие упала, очеиь исправившийся товарищ, прошлое свое забыл иачисто, висел иа доске почета и был по уши в грамотах за ударный труд), крепко выпив, тоже попал иа ночь к Ирнне, а попав, зачастил туда постояиио.

И тогда в милицию поселка пришла его жена и показала, что муж ее Иваи Куща часто перед убийством пил с Козловым — оиа думала, что он ходит к жеищиие, и выслеживала его. А теперь, когда он и вправду ходит к шлюхе, оиа все решила рассказать.

Следствие было очень коротким, нбо даже крупицы махорки — только у Кущи была такая махорка — отыскались в щелях стола дежуркн. И какие-то еще иашлись улики. Припертый к стеие, Куща только убийство категорически отрицал. Да, ои действительио ходил к Козлову, и в ту иочь ои был у него — очеиь уж там уютно было и спокойио распить бутылку. А придя в ту ночь, кого-то спугнул. Был уже убит Козлов, уже был открыт сейф, ио грабителей спугнул, видно, Куща — илн думалн, что ои ие одии, или думали, что это милиция. Деньги он взял, не удержался, ио готов нх сполиа отдать. Сразу бы отдал, ио было страшно, когда пошел трезвон. Он хранит их в двух тайииках и пожалуйста — сейчас же покажет. Поехали в хилую рощицу, так захламлеииую строительным мусо-

ром, что туда уже иикто ие ходил. Откопали, где он сам показал, вытащилн действнтельно большую хозяйственную сумку с деньгамн. Трнста тысяч. А второй тайннк оказался уже кем-то раскопаи, и иа дие его снротлнво валялся только грязный пустой рюкзак. Кто-то его случайно обнаружил.

Нпчего не добнлось следствне в смысле доказательства убнйства. Осудили Кущу только за кражу, да еще с учетом его чистосердечиого прнзнання н актнвной помощн следствню. Срок ои получил очень маленький н привычно отправился иа зону.

Там провел он уже около двух лет, когда в лагере сперва слухн поползлн (парашн по-лагерному), а потом н точно объявилось, что на воле — деиежиая реформа. Деньгн старые будут еще годны в теченне года, а потом, кто не поменял — нзвнннте. Поезд, как говорится, ушел, рельсы убрали. И заключениый Иван Куща, до той поры веселый н безмятежный, начнсто потерял покой. Шевелил губамн на ходу, во сне стонал, очень сильно побледнел н осунулся. Заговарнвал с людьми, но осекался вдруг, словно раздумал, шлялся по зоне, как непрнкаянный. Так оно катнло с месяц, а потом не выдержал Куща н открылся Косте, своему соседу по нарам, как он обманул следствне. Было у иего предчувствне, что завалнтся. Почему н как, он не знал, но душе своей, днкой н матерой — верил. И на всякнй случай, подумав, сделал не два тайннка, а трн. Два действительио тайинка, а однн — понтовый, то есть будто бы там что-то было когда-то, а на самом деле — только ямка н рюкзак. Это он так предусмотрительно прнготовился, еслн безвыходняк, нграть в раскаянне н чнстосердечне. У него, такнм образом, целехонькне лежалн в захороике триста тысяч. Старых деиег. Либо иадо было их превратить в тридцать тысяч новых, либо все мероприятне целнком пропадало н напрасен риск был, напрасна кровь, н крушенне всей жнзни напрасное. А устройства ума н склада душевиого этот самый Куща был такого, что, по себе о людях судя, ннкому на свете не доверял. Костя посоветовал ему разумно: положнться на кого-ннбудь нз тех, кто уходнт, отбыв свой срок. Пусть онн раскопают н обменяют постепенно в разных местах. Часть возьмут, естествеиио, себе, а основную долю спрячут сиова, пока Куща освободнтся. Это был едннствеиный выход, ио Куща молчал, набычившись, а решнться ннкак не мог. Даже так на Костю порой смотрел, что тому стаиовилось страшно за свою жизнь, хоть н поганую донельзя, но свою.

Время между тем катилось стремнтельно. Это только так го-

ворится про томительный и бесконечный день на зоне, а недаром и другое сказано: долог день, да месяц короток. И уже шла середина года, лето. Может быть, другие были сроки обмена денег — меньшие, возможно, чем год — не помню. Костя тоже. Только летом, напряжения не выдержав, превратившись на глазах в доходягу, просто в нервную худую тень от былого могучего бодряка, Иван Куща как-то ночью повесился. Это было для него, как видно, легче, чем доверить свои деньги другому.

— Так что вот, — сказал мне Костя назидательно, — чем кончается планировка жизни. А уж ведь все, все на свете подлец предусмотрел и спланировал. Так что я не загадываю, Мироныч. Как получится оно, так и будет. Все равно ведь будет лучше, чем здесь.

Очень мне сейчас этот лысый, сильно траченый жизнью человек напомнил почему-то Бездельника — той же птичьей отрешенностью от забот и страхов завтрашнего дня. Что бы жизнь ни принесла — прекрасно, и спасибо ей за то, что она есть. В Косте это было от зековского опыта — жить, покуда удается жить, а Бездельнику — дано от природы. И я мысленно порадовался за обоих.

Уловив мое искреннее расположение, Костя как бы подтаял душевно, улыбался, скаля корни зубов, говорил куда больше, чем обычно. И когда я попросил, чтобы он еще что-нибудь рассказал, засмеялся и отнекиваться не стал.

— Я тебе расскажу сейчас, Мироныч, — начал он, — охуенно патриотическую историю. Хочешь верь в нее, хочешь — нет, лично сам я в нее не верю, но прикалывал мне как-то на зоне эту историю один человек, так он клялся, что сам присутствовал.

Очень оказалась действительно патриотическая и красивая легенда. Я ее немедленно записал.

Был в Германии гитлеровских времен знаменитый танковый фельдмаршал, теоретик танкового удара, автор книг о танковой войне — Гудериан. Уж не помню, как его звали. Так вот был у него, оказывается, младший брат, и его будто бы звали Карлом. Был он молод, но в солидном уже чине за храбрость, и командовал, старшему подражая, танковым каким-то подразделением. И под Сталинградом взят был в плен. И по военной неразберихе попал не в лагерь для ихних военнопленных, а в обычный наш уголовный лагерь. И прижился там очень быстро. Язык русский он скоро выучил в совершенстве — настолько,

что писал по просьбе зеков их бесплодные жалобы. И мужик был, очевидно, стоющий — очеиь быстро подружился с ворами, чуть ие сам стал вором в закоие, его даже иа сходняк допускали. И одно только в ием ие устраивало его лагериых миогочислеииых друзей: что совсем у него иет татуировки. Карл, говорили оии миого раз, сделай себе какой-нибудь моиастырь или битву русского с татариком, иа худой коиец — русалку с танком. Ои отказывался и был иепреклоиеи. Вдруг однажды иа зоиу через вахту очень важио прошествовал старичок. У иего был в руках фаиериый чемодаичик, и иа вахте его ие только ие обшмоиали, ио держались вообще очеиь вежливо. Это оказался татуировщик, зиамеиитый иа всю лагериую Россию, первый кольщик по Союзу и иевыразимый мастер своего дела. Тут пристали воры к Карлу опять: ты воспользуйся этим случаем, думаешь — он здесь долго будет, этот мастер? Нет, иедолго! Думаешь, ои только иам татуировки делает? Здесь рассказчик, повествовавший это Косте, поднял палец вверх, демонстрируя, что и там тоже делают себе татуировку — если им все доступио, как ие сделать красоту себе иа теле? — так что скоро призовут. Видио, этот иеопровержимый довод и подействовал иа Карла Гудериана. И, ложась под иглу старичка, ои просил только учесть и подумать, что еще ои вернется иа родиии, и чтоб ие было поэтому иа ием иичего такого, чтоб стыдиться. Старичок сказал, что понимает.

Пил этот мастер-кольщик страшио, кто-то водку доставлял ему исправио, и работу иачинал ои со стакана. Безупречио трезвым сохраняясь. На груди у Карла Гудериаиа появился изумительиый таик, а поииже его — иадпись по-русски, что "Гермаиия превыше всего". А еще было ииже иаписано "Гот мит уиц", что уже, как было всем известио, означает "Бог с иами". А иа бедрах, иа живот иемиого заходя, очень скоро появились две пушки (иесколько фаллического вида, что весьма соответствовало месту), а поверху их вилась иадпись: "Боже, покарай Аиглию". Очень был доволен работой заключеииый Карл Гудериан. Делал все старик в меру больно и очеиь аккуратно. Правда, через деиь, перебрав иемиого, иа руке ои у самого плеча иаписал Карлу — "Боже, храии королеву", что отиосится, как известио, к жизии английской, ио и это было страшио ие очень, потому что иадпись была малеиькая, просто ювелириая иадпись, а изображеииая от плеча до локтя красотка могла быть кем угодио, кроме королевы Англии. Карла затем перевернули иа живот, и старик прииялся за его спину.

Что-то бодрое неразборчиво напевая, он работал до позднего вечера, когда вдруг произошло предсказанное: срочно вызвали его на вахту, и он так же степенно и неторопливо отбыл куда-то с неошмонаемым чемоданчиком в руке. Впрочем, он успел сказать Карлу, что работу уже, в сущности, закончил, так что пусть клиент не беспокоится, а насчет оплаты — уже все оплачено друзьями.

Шли годы. Вскоре после войны многих пленных действительно отпустили, остальных отпустили позже, с ними вместе, объявившись, кто он есть, уехал и Карл Гудериан. И сейчас он еще жив и здравствует, стал он тоже известным танковым военачальником, но нигде, никогда, никто, даже самые близкие из близких не видали его раздетым. Он и моется всегда в одиночку, никогда не посещает пляжи. И понять его, беднягу, очень можно: во всю спину его ярко и сочно изображена татуированная схема окружения немецких войск под Сталинградом.

* * *

Я в связи с татуировкой вчера вспомнил и спешу сегодня записать, чтоб не забылось, как наша камера-осужденка, где получившие приговор ждали отправки в лагеря, превратилась в хирургическую палату. Операцию делали себе человек двадцать, такое поветрие, как зараза, охватывает молодых, — операция делалась уникальная, убежден, что ни одна хирургическая клиника в мире не знает и не делает таковой, разве только в Африке где-нибудь, где еще и не такое делают с собой туземцы. Слово "спутник" витало в те дни в камере, и о спутниках были все наши разговоры. Только здесь это означало не космический аппарат, а пластмассовый шарик (точней — большую фасолину из пластмассы), вживляемый в член для усугубления ощущений партнерши. Никого не интересовало, что до акта любви кому оставалось три, а кому — и пять-шесть лет, приподнятость царила такая, словно завтра уже всех ожидало свидание с требовательной многоопытной любовницей, которую так приятно было бы ошеломить новинкой. Ибо спутник вживлялся не один, а две-три таких крупных фасолины делали член скорей орудием пытки, чем наслаждения, и двое в нашей камере, у которых уже давно были спутники, в сотый раз рассказывали, как сладостно кричали их подруги. Не могу не описать

технологию нзготовления и вживления этой мерзости в условиях камеры, где ие только о чистоте и стерильиости не могла идти речь, ио и орудий для операции не было никаких, однако иашлнсь, и у всех все прошло хорошо, и надо было видеть счастливые лица добровольцев, чтобы понять неизведаниость нашей психикн и ее глубинное дикарство. Впрочем, по порядку. С утра.

Или точнее — с вечера, ибо все начали готовнть еще вечером. В большом грязно-буром куске хозяйственного мыла аккуратно вырезается иебольшое отверстие. Ножом служит черепок заранее украденной алюминиевой ложки — ои заточен о бетонный пол до полной похожести на скальпель. Несколько часов иепрерывного первобытного труда ушло на это у кого-то нз чуханов камеры. Далее над этой ямкой, проделанной в куске мыла, плавнтся на спнчке целлофановый пакет. Издавая мерзкнй запах, частнчно сгорая, он черно-бурымн каплямн льется, заполняя отверстне н застывая в нем. Тут кусок мыла разрезается, вытаскивается образовавшнйся твердый сгусток, н его долго-долго шлнфуют о тот же бетонный пол камеры, доводя до вида большой и гладкой фасолииы. Есть любнтели, которым кажется мал этот размер, тогда изготавливается фасолина размером в желудь. Спутник готов, теперь его будут запускать. Существует здесь откуда-то взявшаяся убежденность (безапелляционным суждениям знатоков вообще очень верят в тюрьмах), что раны от острых режущих орудий заживают медленнее н хуже, поэтому бритва, хоть и есть она обычно в камере, для операции не годится — надрез должен быть рваным н иеровным. Поэтому употребляется ручка от зубиой щетки, обточенная о тот же пол. Итак, доброволец, идущий иа эту косметическую операцию (просто не знаю, как ее назвать по-другому), кладет член иа стол, за которым камера обычно ест (вокруг толпятся болельщики н ожидающие своей очереди), н двумя пальцамн оттягивает на нем, распластывая по столу, кожу у основания головки. Эксперт по спутникам наставляет острне ручкн зубной щетки и сильно бьет сверху. Тут очень важное отступленне. В камере нечем бить, это издавиа предусмотреио устроителями тюремного режима. В качестве молотка нспользуется (о книга, источник знаний!) самый толстый том из книг, читаемых в камере. У нас в камере честно служил этой цели (и боюсь, что не в одной иашей камере и не одной смеие заключенных служил) увесистый роман Фадеева "Молодая гвардия". (Так что книги действительно имеют свою

судьбу — древиие, как всегда, были правы. Замечательиым показалось мне созвучие названия с возрастом н заиятиями сокамерников.) Иногда, если толстых книг нет, нспользуется коробка с костяшками домиио, только удар тогда слабей, а ручка щетки должиа пробнть кожу и воткнуться в стол — высшнй класс операцин, когда ее вытаскивают с трудом. От удара доброволец охает, закусив губу (вскрикивать иеудобио, очень ведь мужская операция), бледнеет (хочешь быть красивым — терпн, к сексуальному обаяиию это тоже, безусловио, отиосится), ио покорио смотрит, как эксперт-оператор, ие обращая виимания иа кровь, быстро и ловко заталкивает в образовавшуюся рваную щель заготовлеииую фасолину-спутиик. Справедливости ради не могу ие отметнть, что стерилизация предмета производится — его уже ополоснули под краном, смыв пыль от шлифовкн о бетонный пол. Далее раиу посыпают истолченной таблеткой белого стрептоцида (если ои есть) и перевязывают подручиой тряпкой, чаще всего это разорваиная иа полосы майка. Первую ночь опернрованный обычно кряхтит, ворочается, часто стоиет во сие. Дня через три-четыре (молодость есть молодость) уже моется со всеми в бане, горделиво демоистрируя любопытным свою иовую сокровенную деталь. Некоторые вживляют по трн штукн, симметрнчно располагая нх вокруг члена, н ожерелье такое всегда виушает иовичкам уважеиие. Интересио, что случаев заражения я не видел нн одного, разве что у двоих (а вживляло, повторяю, спутникн у иас в камере человек двадцать) фасолнны эти в процессе заживлеиия просто вывалнвалнсь нз разреза, н горе свое иеудачинки даже не пыталнсь скрывать, хотя повторио пробовать тоже не пытались.

Администрация, знающая, естествеино, о повальиой этой моде в тюрьме, борется с ией замечательио гуманио и разумно: сажает в карцер и старается ие давать стрептоцид. Жалующийся иа простуду получает какие-то таблеткн, ио еслн прямо попросит стрептоцид, то ие получит иичего, будет обруган, осмотреи и предупрежден. В этом смысле я был в иашей камере иаходкой: человек пожилой (операцию себе делают молодые, а меня медсестра, совершающая врачебиый обход с коробкой всяких заветных таблеток, звала дедом, н камера не удивлялась, я был вдвое старше большинства), явно ннтеллнгентный, я был вие подозреиий. До поры. Когда мои жалобы иа простуду и просьбы дать стрептоцид ("всегда иа воле помогал только ои, сестрица, больше ничего душа не прннимает") стали хроническими, я был заподозрен, н таблетку заставляли меня прогло-

тить сразу. Но уже со второго раза я выучился прятать ее под язык или за щеку, делать явное глотательное движение и честные, чуть обиженные недоверием глаза, после чего вынимал ее и отдавал очереднику. Так как таблетки, как бы их ни называла медсестра, даются в камере уже вытащенными из упаковки, не поручусь, что на раны всегда сыплется именно стрептоцид. Но так как оперируемый всегда верит, что это стрептоцид, то и эффект всегда безусловный и стрептоцидный.

Только скоро, очень скоро (в тюрьме это знают, но идут на операцию все равно, ибо никогда не теряет человек надежду, и вечно живо будет великое русское "авось") вступают в действие воспитатели зоны, лагерные врачи. Им предписано: спутники неукоснительно вырезать. Причем — в целях воспитания гуманного, не озлобляющего и разумного — вырезать не сразу при поступлении человека в лагерь, а только за час перед свиданием, когда приехала к нему жена и он пришел на обязательный перед свиданием врачебный осмотр. Ладно еще, если приехали отец или мать — а я видел, как огромный, баскетбольного роста, наглый и отважный блатной Генка плакал, как сопливый мальчишка (сразу как-то и возраст его сопливый обнаружился, двадцать всего лет ему было, этому лагерному законодателю), умолял врача не взрезать его, вынимая спутники, кидался от плаксивых жалоб к угрозе вскрыть себе вены — к нему приехала жена. Так как в лагере и начальство из различных соображений все стучит друг на друга, врач остался непреклонен. Генка отказался от свидания и сидел в изоляторе за то, что вскрыл себе вены, а его жена, в крик порыдав часа два в доме свиданий, уехала обратно.

Что касается сексуального удовольствия, причиняемого спутниками, то я слышал мнение только одной стороны, так что думаю, что это делается более для самоутверждения в процессе акта (крохи садизма живут ведь в каждом из нас), и рассказы взрослых зеков, шедших по второй и третьей ходке, о том, что на воле они все вскоре вырезали себе спутники, убеждают меня в этом. Но так странно и сильно влияет климат камеры на каждого, кто находится в ней, что любое поветрие заражает стремительно и вопреки неубедительным доводам разума. Сошлюсь хотя бы на то, что, глядя на бледные лица добровольцев, на всю антисанитарию, в которой делалось вживление спутников, на льющуюся кровь и грязные повязки, трезво понимая и оценивая происходящее, несколько раз я ловил себя в тот месяц на довольно сильном желании тоже попробовать это сделать. Удержался.

ГЛАВА 3

Хоть малолетки и в тюрьме сидят в отдельиых камерах н зоны у ннх свон, но какне-то отголоскн их буйной жизии (дети остаются детьми — и в эиергин своей, и в жестоких играх) доиосятся до взрослых камер и взрослых зои. То в отстойииках при тюрьме, где долгими часами десятки зеков, идущие иа этап или прибывшие с иего, ожидают отправки илн сортировки, то иа зоиах, куда "подиимаются" достигшие восемиадцати лет, н уж коиечно, в камерах при милиции, где вообще перемешаны все подряд и подследствеиный мальчоика лет шестнадцати с упоеннем выслушивает строгача, идущего уже по третьей, а то и пятой ходке. Самый стаж заключеиия предполагает опытность и обилие интересиых рассказов, отсюда н авторнтетиость бывалых, а почтеиие иовичков побуждает разглагольствовать и учить. Соблазняются даже самые молчалнвые и замкнутые зеки. Мие повезло с малолеткамн в Загорской тюрьме, ибо оиа была переполиеиа втрое, если не вчетверо в канун Московской Олнмпиады, и трое, в молодежных камерах ие ужившиеся по разным причииам, попали к иам.

С какой-то настолько пронзительной ясиостью ощутил я после общеиия с иимн, как складывается их жизнь, что даже мало расспрашивал потом другнх, ибо новых черт уже ие добавлялось к образу их тюремиого мальчишеского быта.

Первым к нам попал Андрей. Было ему около семиадцати, только-только получил ои десять лет за групповое (двое их с приятелем было) изиасиловаине одноклассиицы. Но родители как-то иастояли иа пересуде, вскоре срок ему скостили до семи, и счастью его не было предела — вижу, как сейчас, как ои метался по камере, нелепо размахивая руками и осторожно пританцовывая. Осторожио, ибо к иам он попал сразу после больиицы: в камере малолеток ои играл с кем-то в шашки, оин повздорили из-за неправильиого хода, и партиер тяжелой железиой мнской (шлеиками иазываются оии иа феие) ударил его наотмашь по голове, ио ие плоско, а краем по вис-

ку. Нет, не зря все в камерах прочно приделано к полу или стене, а миски и ложки выдаются лишь на время еды. Но их крадут, верней — пытаются не отдать обратно, и если ложки дежурный строго-настрого пересчитывает по ту сторону кормушки (сточив о бетонный пол, из ложки можно сделать прекрасный нож), то миску часто удается утаить. Огромный безобразный шрам шел у Андрея от виска к уху — след самого удара, а еще один шрам, поменьше, был с другой стороны головы — то ли от удара при падении, то ли резали и здесь, вскрывая кровоподтек. По-мальчишески симпатичный, ясноглазый и мягкий, Андрей роста был невысокого, сложения отнюдь не богатырского, отчего (пока не заговаривал и не становилось очевидным дремучее его невежество, хоть и учился в девятом классе) мог показаться сыном интеллигентных родителей, запустивших по занятости, предоставивших школе и улице свое явно любимое и балуемое чадо. Позже как-то, в ночном случайном разговоре, он под великим секретом признался мне, что отец его — крупный работник в горкоме партии, оттого и удалось добиться пересуда и уменьшения срока, оттого и передачи он получал чаще, чем положено, и зримо иного качества, чем у других. А под секретом (всем он говорил, что отец его работает мастером на заводе) потому, что жестоко преследовали малолетки детей любого, а особенно партийного, начальства. Кстати, во взрослых камерах и на зоне скрывают зеки, если были в партии, спасаясь от непременного потока оскорблений, издевательств и вообще совершенно иного отношения, чреватого даже побоями при первой подвернувшейся возможности. Для всех же, кто на воле был причастен хоть косвенно к органам порядка и правосудия, вообще отводятся в тюрьмах отдельные камеры и особые существуют зоны, ибо их участь была бы просто кошмарна. Даже только подозреваемые в работе в милиции часто становятся объектами придирок и поношений.

Но вернусь к Андрею. Он лежал в обычной городской больнице, ибо травма его была слишком сложна для врачей тюремной санчасти, а в коридоре возле его палаты день и ночь дремал на стуле, изнемогая от прикованности к месту, дежурный милиционер. Убежать Андрей никуда не мог в своем состоянии, да и не собирался, не тот характер, но инструкция есть инструкция. А потом, еще с повязкой на голове, слабый после сотрясения мозга и тяжелой операции, был он возвращен в камеру для малолеток, но там ему житья уже не было. Вообще

тюрьме чуждо сострадание, а у малолеток и подавио. Андрея иачали обижать — ои был не в силах ответить. Страшиая есть тюремио-лагерная поговорка, точио передающая ситуацию: "обижеиных — ебут". Правда, в каждой камере для малолеток полагается держать (и держат) одиого, а то и двух взрослых из таких же заключеиных — это и воспитатели, то есть укротители, и надзиратели одновремеино. О непорядках, с которыми они ие в силах справиться сами, оии должны сообщать админиистрации. Но сообщить — зиачит доиести, а кто возьмет иа себя этот самый тяжкий тюремиый грех, предвидя впереди лагерь, куда сведеиия о ием рано или поздио просочатся? Не говоря уже о том, что и сами малолетки — рослые здоровеииые жеребцы, ии секунды ие медлящие с расправой, если оиа кажется справедливой по тюремным иормам, соблюдаемым ими строжайше, словио в любимой увлекательиой игре. Так что максимум того, что может сделать взрослый, — это вслух сказать, кого по его миению следует убрать из камеры — ие из числа зачиищиков драк и молодецких игрищ, не из главарей, а из обижаемых, презираемых и угиетаемых — из так изываемых чушек, или чушкарей. Убрать, так сказать, иайболее соблазиительиую жертву, которая самой слабостью и иезащищеииостью своей стимулирует и провоцирует вспышки жестокости и злобы. Специальиая камера для таких существует — она так и изывается — обижеикой. Но в свою очередь, там такая вершится битва за ступеиь в иерархии (ибо из обижеииых "чушкарей" можио еще вериуться в "пацаиы"), что Андрею ие удалось прижиться и там. В результате — ои сидел у иас и медлеиио приходил в себя. Ои был жертвой, ио не следует думать, будто сам был участлив, сострадателен и добр — вовсе иет. Повернись по-иному его тюремиая фортуна, отыщись двачтри дюжих приятеля, будь он сам физически покрепче — и ои так же лихо бил бы других, отнимал у иих передачу, заставлял за себя мыть полы и стирать в лохани одежду и дрессировал бы, как зверей, самых слабых, забитых и уже опустивших руки, сдавшихся чушкарей: по щелчку пальцами — немедленный принос сигареты, два щелчка — подать спички, три — приести воду, и так далее, а за секунду промедлеиия (если, к примеру, спал и услыхал не сразу) безжалостные куда попало побои. И ели бы у иего эти иесчастиые не за столом, а около параши, и спали бы в грязи под иарами, и ии о каких высоких материях ("все мы люди, мы друзья по неволе" и прочее из гуманистического репертуара) ои бы не помышлял. Вот — как

пример его нравствениого кругозора — иаш короткий разговор одиажды о деяиии, приведшем его сюда. История, в общем-то, баиальнейшая (очеиь много молодых сидит за изнасилование, что страиио при сегодияшием изобилии и доступности): выпили с приятелем бутылку, отправились вечером побродить, встретили одиоклассиицу (с авоськой, мать за молоком послала), показали ей иож, и оиа покорио пошла за иими. Забавио, что оии еще раиьше, месяца за три до того, совратили ее точио таким же образом (девицей оиа тогда оказалась, оии этого даже ие ожидали, в их классе уже миогие сверстиицы приобщились к плотским утехам), но тогда она промолчала, а иа этот раз — рассказала матери. (Очевидно, оправдываясь, почему не принесла молоко.) Мать заставила ее заявить в милицию, и все закрутилось. Но существеиио здесь (для иашего героя) вот что: совершалось это все зимой, в лютый мороз, иа кладбище.

— Андрей, — спросил я его, — ты замерз, пока твой напариик с ией был?

— Ой, Мироиыч, — по-мальчишески бодро и звоико ответил ои. — Просто задубел даже, а не замерз. Пока ои иа ией прыгал, я вокруг прыгал, рядышком, все никак согреться ие мог.

— Ну, а ей-то каково было? — спросил я. — Ведь на сиегу же, бедолага, лежала, всего-иавсего, иебось, иа своем пальтишке, да еще полураздетая. А?

— Нет, Мироиыч, — серьезно и истово ответил мие Андрей. — Нет. Мы же ей бедра сиегом обтирали.

Таковы были его поиятия о человеческом сострадаиии. И здесь вот, когда ои уже испил свою чашу уиижеиий и бессилия (ох, как пополиится оиа в лагере — ибо, кроме личных даиных Андрея, иадо учесть, что статья сто семиадцатая вообще ие уважается иа зоие, презирают почему-то тех, кто "обмакнул конец, а теперь десять лет сушит"), иеожиданио в камеру к нам попал второй, полиый сил, задиристости, отваги и готовиости гиуть и ломать что угодио, а уж тем более — кого угодно. Он был из главарей, заводил и зачииателей, этакий центр кристаллизации — таких тоже старались из камер малолеток убирать. Куда придется. И ои попал к иам.

Но сиачала — еще одна история, чтоб ее потом ие забыть, — попутиая. Из этого же малеиького городка. Орава молодых сорваицов изнасиловала вечером жеищину. Кляпом каким-то заткнули рот, задраииую юбку завязали иад головой узлом, и

прошлась по ней вся компания с шуточками и смехом. А на следующий день мать сказала своему сыну-подростку:

— Звери твои дружки, а не люди. И ты такой же. Я в суд не подам, чтобы мне судье в глаза не смотреть, родной сын надо мной поиздевался. Ты скажи им только, пусть кольцо вернут, что сняли, — это об отце память.

И сын ее повесился в ту же ночь. Тогда она и подала заявление в милицию — участники сидели теперь в камере малолеток. Это как раз один из них ударил Андрея.

А пришедшему после него Сергею было всего шестнадцать, но роста он был прекрасного, широк в плечах, плотен, красив уже не мальчишеской, а вполне мужской красотой. Женщинами самых разных возрастов был он уже настолько избалован, что они даже, кажется, интересовали его не очень, слишком рано и слишком доступно оказалось ему это в подмосковном дачном городе Пушкине. Душа его жаждала острых развлечений, притом непременно коллективных. Рассказы его о них были довольно однообразны: то они всей компанией били кого-то (что десятком набрасывались на одного, казалось ему в порядке вещей и не смущало), то бесцельно мчались куда-то на украденных мотоциклах (которые потом просто бросали), то крали коней в соседнем колхозе и устраивали в лесу скачки. Но в основном все-таки били кого-то, не дрались, нет — именно били, что-нибудь отнимая у позднего прохожего, сошедшего с поезда, а чаще всего — просто так, за косой взгляд или отсутствие спичек. Тут Сергей всегда старался рассказать поподробней, кто именно из их компании ударил первый, кто сбил с ног, а кто потом и куда именно бил ногами. Нет, нет, это не было садизмом, то есть некоторой душевной ненормальностью, это была форма развлечения, отсюда и интерес к подробностям. Добыча его не волновала, его волновал процесс. Он, к примеру, мог поймать с приятелем кошку или собаку и подвесить их на веревке как боксерскую грушу — попади ему в руки оружие, он бездумно и спокойно пустил бы его в ход, придумав ситуацию понеобычней. Незадолго до ареста мне довелось читать журнальную большую статью о загадочных и загадочно многочисленных безмотивных, то есть совершенно бескорыстных преступлениях. Естественно, они объяснялись следствием гниения западной цивилизации и растленного бездуховного общества. Я о них вспомнил, разговаривая с Сергеем. Странным образом этих молодых не устраивали развлечения, предоставляемые им широко и разнообразно, — им хотелось их

найти самим, и в образе, хоть немного, но преступающем черты дозволенного и общепринятого. Кстати, Сергей показался мне более добрым, чем Андрей, более очеловеченным, более готовым к душевной привязанности и отзывчивости — понимаю, что говорю нечто прямо противоположное тому, что только что писал чуть выше, но могу лишь повторить: вижу противоречие, но объяснить его не умею. Сергей как-то очень тянулся в камере к нам, кто старше, готов был с радостью и благодарностью принять и впитать новые знания (слушал, по-детски забывчиво раскрыв рот), даже чисто нравственные, если в них не было прямого назидания или морали, которыми его так уже, очевидно, обкормили в школе, что он автоматически закрывался, как раковина или ежик, слыша что-нибудь созвучное школьным прописям. Андрей был холоднее, разумнее и более уже вылеплен, чем Сергей, из которого с равным успехом мог получиться или закоренелый бандит (именно грабитель, а не вор), или упоенный, отдавшийся душой и телом — спортсмен, к примеру, или что-нибудь в этом роде, если бы увлекся (а точнее — кто-нибудь увлек, сильная в нем и явная ощущалась жажда в старшем мужчине). Мать его работала на фабрике, отца не было, вряд ли подберет его, как в кино или рождественской сказке, какой-нибудь добрый фанатик-тренер или наставник. Думаю, что уже сейчас, когда я пишу это, год почти спустя после встречи (дело плевое какое-то было, мелкая кража в школе, сама же школа и брала на поруки), он избивает кого-нибудь со своей компанией на скудно и тускло освещенной дороге от станции к центру. Или раздевают пьяного — все никак не мог он объяснить мне, почему они при этом бьют его, а не просто отнимают плащ, пиджак или часы. Ведь не сопротивляется? Нет. Почему же бьете? Злость чего-то берет. Ну, а если сопротивляется? О, того уж так метелим, будет помнить. А прохожие, неужели не вступается никто? Женщины иногда — прикрикнет и спешит дальше, а мужики отворачиваются, как не видят. Или, может быть, мчатся они куда-нибудь на уведенных мотоциклах, чтобы бросить их при первой милицейской попытке остановить, а возвращаются уже на автобусе всей компанией, задирая кого-нибудь, чтобы потом сойти с ним вместе и разом накинуться всем на одного. Или у винного магазина отнимают бутылки у выходящих. И еще деталь его мировоззрения: твердо и убежденно защищает он идею, что мир по-прежнему делится на бедных и богатых и богатых грабить не западло. А богатым они считают каждого, у кого есть что-нибудь, чего нет в данный

момеит у иих. Это у иих в таком виде задержалась в голове маркснстско-леннинская идея о равенстве н справедлнвости в распределеиии общественного продукта.

И вот при всем при этом, хоть ясио было, что растет подоиком этот могучий сопляк, что отпетым, скорее всего, стаиет мерзавцем, — очеиь иравился мие Сергей. Полиой, повторяю, и явствеииой, жаждущей готовиостью раскрыться иавстречу кому-то, кто так, скорей всего, и ие появится. С Сергеем у меия связано воспомииаиие о страхе, сильией которого я не переживал.

Дело в том, что ои стал тираиить слабого Аидрея. Не сразу, иет, а дней через пять, когда полиостью обжился н осмотрелся. Издевался иад ним, угрожал и замахивался, играя в домиио или шахматы, поминутио требовал что-нибудь подать, прииести или убрать, уже Андрей жался иа краешке скамьи, когда мы ели, покорио ожидая, что его вот-вот сгонят есть куда-иибудь поближе к параше. Мие смотреть иа это было иевтерпеж, н я громко сказал вечером Сергею, что камера у иас взрослая н нечего здесь устранвать детскую площадку зоопарка, где животиые, кто посильией, гоняют слабых. Сергей долго молча смотрел иа меия, чуть заалев (отиосился ои ко мие очень хорошо н все время расспрашивал о гипнозе, о телепатии, о Бермудском треугольиике), а потом очеиь, очеиь спокойио сказал:

— Зиаешь, Мироиыч, ведь ие драться же мие с тобой... — Было здесь нескрываемое преиебрежение к моей очевидной иеспособиости драться с этим жеребцом, ио еще и поинмаиие иеуместиости этого здесь, в тюрьме. И повторил:

— Ведь ие драться же мие с тобой. Я тебя зарежу.

Ои сказал это так просто и искреиио, что мие стало совершенно понятно, что сделать он это может с легкостью, ие дрогнув, не задумавшись и не убоявшись. Нет, мие не сразу стало страшно (или просто пути иазад уже ие было), — во всяком случае, я сухо повторил, что здесь у иас зверинца ие будет, и уткнулся поглубже в книгу. Только думал я уже совсем о другом. Все мы знали, где у иас в камере спрятана бритва, давио украдеииая у дежурного надзирателя, раздававшего по субботам бритвы (одну иа троих), кнсточку н зеркальце, а потом строго считавшего бритвы прн возврате (в случае иедостачи — шмои строжайший н карцер для всех). Там же хранился н супииатор — отточенная о бетонный пол полоска стали, что вкладывается для упругостн в подошвы са-

пог, ботинок и туфель. Супинаторы непременно вынимались (вырезались, вырывались, выбивались) из обуви во время обыска при поступлении в тюрьму, с ними были те же строгости, что с бритвами, но сохранить его или пронести считалось делом такой доблести, что почти в каждой камере хранилось такое лезвие — миниатюрный, но все же нож. Брать их сейчас при всех было мне совершенно неудобно, только так и стояли у меня перед глазами две эти стальные пластины. Ох, как долго я не спал в ту ночь! И не только потому, что был настороже. Все равно я не справился бы с Сергеем, да и закричать успел бы вряд ли, а на помощь ни на чью не надеялся — сопливцы сидели в камере нашей, а двое постарше — спившиеся бичи. Нет, не только потому, что был настороже. Ибо я и верил и не верил в исполнение угрозы. Немедленно — он бы мог, легкую истерическую взрывчатость я давно уже заметил во многих молодых, занимающихся кражами или мелким грабежом. А спустя некоторое время — вряд ли мог. Так что нет, не только от опасливой возбужденности не спалось мне в ту ночь. Третий раз вот повторяю, что не очень боялся — чтобы себя, что ли, тоже убедить задним числом? Возможно. Только я и вправду очень горьким предавался мыслям: виделось мне в эти часы бесчисленное количество таких Сергеев (он, кстати, по-прежнему оставался мне искренне симпатичен) на необозримых пространствах империи, готовых легче всего к массовому какому-нибудь движению — разрушительного, разумеется, характера. Против кого угодно, если сплотят и убедят. И до любой крови. А что с этим делать, я не знал и не мог придумать. А всяких прекрасных книг я к тому времени начитался столько, что считал себя почему-то обязанным что-то придумать. Противопожарное нечто. Или утешающее хотя бы, обнадеживающее — за что бы спрятаться могли всякие прогнозы и опасения. С этим смешанным чувством понимания, бессилия и страха (сколь традиционная для интеллигента троица!) уснул я где-то на рассвете, когда к ярко-серому свету прожекторов в решетчатом окне добавилось розовое, синее, желтое.

Утром, словно не было вчера ничего, Сергей у меня что-то спросил. Я сперва ответил сдержанно и суховато, но тут он, помня мою слабинку, предложил поиграть в нарды. А я только-только научился в них играть, и очень мне это нравилось. Доска у нас была расчерчена на столе, фишками служили шашки, а кубики — из хлебного мякиша. И вчерашнее было перечеркнуто. Больше он не задирал Андрея, просто не замечал

его, словно тот был пустым местом — сам боялся, очевидно, что сорвется, и не хотел этого. А я свой страх помнил еще довольно долго. И еще два дня спустя мне пожилой бич Мишка сказал, что тоже не спал всю ночь, чтобы мне помочь, если что. Но врал он все, спал и храпел нещадно, просто хотел подмазаться, потому что мне из камеры сверху спустили по нитке трубочного табаку, и я его никому не давал, потому что курево и так было, а Мишка, как истый бич, всегда хотел того, что есть у других, свое оставляя про запас на черный день, хотя знал, что такого дня у него здесь не будет, ибо мы все поровну делили. А чем занять этих Сергеев и как ввести их в уровень подлинно человеческих отношений, так я и не знаю до сих пор. Только совершенно уверен, что и вернувшись на свободу, буду опасливо настораживаться теперь, проходя мимо кучки молодых. И убежден, что скоро эта проблема станет вообще из самых острых, ибо есть в ней очевидная расплата за успешное и повальное увлечение техникой, наукой, плотью бытия, материальным засасывающим процветанием.

Имя третьего я не помню и даже лица его в истинном виде не повидал, ибо пробыл он в камере всего неделю, а когда пришел, вместо лица у него был один вздувшийся темно-серый волдырь с двумя желтыми полосками гноящихся затекших глаз и багрово-синими пятнами кровоподтеков. Собственно, привели его под руки, а не пришел. Так надзиратель и сказал, что привели его отлежаться и пускай он на лице постоянно держит мокрое полотенце. Был он из малолеток, хоть из-за вида своего казался старше. Слезая в своей камере со второго этажа нар, наступил он — нечаянно, разумеется, — на край подушки своего же приятеля (кента по-тюремному). Очень многое у малолеток объявляется "западло" к употреблению — красный цвет, например, или еда, упавшая на пол. Западло и все, на что наступила нога, — так что, говоря по-камерному, наш сосед "опарафинил", то есть безнадежно испоганил подушку случайным прикосновением ноги. Извинения тут помогли бы вряд ли, но приносить их — тоже западло. Так что он растерянно что-то буркнул. Не зная, как поступить, малолетки спорные вопросы часто решают дракой, и приятель, сам того не желая, вмиг накинулся на него с кулаками, боясь, что иначе сочтут трусом. В завязавшейся драке появилась уже и ярость, и стимулирующий драку азарт. Приятель одолевал провинившегося. И вот здесь естественный вопрос: что сделали бы взрос-

лые, тесно сгрудившиеся в узком проходе камеры вокруг двух дерущихся, видя, что один одолевает другого? Дождались бы естественного конца дракн. Разняли дерущихся. Уняли распалившегося победителя. Вот н все варианты — не правда ли? Ничего иного нормальный взрослый разум н не может, по-моему, изобрести. Малолеткн же всей толпой набросилнсь на поверженного, н неизвестно еще, что произошло бы, не загляни туда случайно надзиратель. Может быть, правда, были какие-то ранее накопнвшиеся к нему в камере чувства — не знаю. А возможно, виновата отчастн его статья. Странная, единственная в мнре, должно быть, в нашем только кодексе существующая. За тунеядство.

Удивнтельная это статья. Воплощенне и доведенне до предела идеи "кто не работает, тот не ест" — а еще, значит, и исправленню подлежит. Перевоспитанию трудом. И к бичам, по статье этой попадающим, относятся почему-то плохо. Очень много мне нх встречалось — частой сетью прошлась перед Олимпнадой милиция по множеству городов вокруг Москвы, не говоря уже о самой столице. А от кампанин столичной яростно стараются не отстать и провинциальные коллеги. Толпами шли за решетку люди, даже случайно н ненадолго прервавшие свой рабочий стаж. Множество таких бедолаг я повидал и в тюрьмах, н на зоне. От совсем зеленых юнцов до зрелых сорокалетннх мужиков. У одного в Красноярской тюрьме забавный был записан с его слов последний адрес: "Колодец номер три теплоцентралн по проспекту Красноярского пролетария". Интересно было бы сравнить нх быт н понятия с их коллегами — западнымн хиппи — много общего, несомненно, нашлось бы в этих отщепенцах цивилнзацин, отказавшнх ей в праве на свою жнзнь н ее теченне. А общее отношение к бнчам — непониманне с оттенком презреиия — оно, возможно, н сказалось на судьбе этого третьего малолетки. Думаю, что и на зоне ему придется плохо — было в нем нечто, обрекавшее его на пребывание в самом низком слое лагерной нерархни. Объяснить я этого не могу. По ощущенню. Но беда таких, как ои, что чувства, вызываемые имн у окружающих, толкают этих окружающих на агрессию. Замкнутый выходит круг, некая обреченность тут просматрнвается. А куда она приводит беднягу — опншу я далее, потом.

Многим новым словам обучился я уже на зоне. Часть из них теперь останется со мной. Например, прекрасное здесь бытует

слово — тащиться. Но не в смысле изнуреиного медлеиного двнжения, а как поиятне удовольствия, блажеиства, отдыха и покоя. Тащатся от водки и чая, от каликов н колес (таблеток), тащатся от тепла и солнца (балды), просто растянувшись блаженно н иа полчаса забыв обо всем — тащатся.

Так тащился я сегодня иа промзоие в крохотиом сарайчике позадн иашего цеха — в тепляке, или бнндюге, где стоит печь, сваренная из железной бочки, и вдоль стен идет низкая узкая скамья — можио сесть, можио лечь, если народа мало, подложив под голову чурку, и тащиться, глядя иа огонь. Илн иа часок уснуть бдительным лагерным сиом, когда слышишь все шаги возле биндюги, чтобы оказаться иа ногах, если начальство. А покуда спишь. Но тащиться — куда приятней. Да к тому же кто-то вывернул лампочку (их катастрофнчески не хватает иа зоие, так что крадут их повсюду и все), и лишь слабые блики пламени разрежали продымлеиную темиоту. Отогревшись, только что разошлась бригада, а я остался — с понтом, чтобы караулить инструмент. (Понт — это любая показуха. Поитуются, создавая видимость работы, усердия, прилежания, благоразумия, с понтом все мы твердо стояли иа пути нсправлеиня и перековки.) Инструмеит весь состоял из топора, который просто надо было сдать на склад, но сдавать его я не шел, ибо остался специальио, чтобы потащиться. С бригадиром иашим я жил дружно, так что мог себе такое позволить, а ребятам это не было обидно, так как они сами будут понтоваться возле штабеля досок — выдался прекрасный такой деиь, что начальства ие было иикакого.

— Ты бы мог описать это, Пнсатель? — спросил я его сегодня утром, когда вся бригада иаша, тридцать мужиков, плотио сбнвшись, сидела в темиоте, ожидая, пока печь разгорится и биндюга заполнится вожделеиным дымиым теплом. В щели между доскамн пробивалнсь полоски света — позже сюда станет задувать ветер, очеиь быстро охлаждая биндюгу, мы поэтому решили щели забнть, ио тут все, с чем удавалось помедлить, мы откладывали иа потом, а пока только эти полоски да мерцание сигарет освещали иаши мятые, бледные и осунувшиеся лица.

— Нет, иикак, — тихо отозвался Писатель. — Зиаешь, как я жалею об этом! Но ие мог бы. Надо быть черт знает каким художииком, чтобы описать опустошеиность иашу, странную отчуждеииость, что ли, от жизии, взвешенность, зыбкость, апатню полную, почтн скотскую, н в то же время самые раз-

личные радости, которых вовсе не понять никому, кто здесь не был. Вот сейчас, например, мы же почти счастливы, послушай. Мы поели только что по трети миски отварной капусты с куском глинистого хлеба, запили полукружкой еле подслащенной теплой воды, сытости хватит часа на два, будем ждать обеда с нетерпением и приятностью, что он будет наверняка. А здесь тепло, безделье, безопасность от начальства, курево. Каждому сейчас непередаваемо хорошо и спокойно. Если хочешь — даже на воле редко так бывает, ведь же нету никаких забот и спешки, планов и суеты нет, наши головы обречены на отдых. А сейчас огонь займется, затрещат поленья, мы закурим по второй, не торопясь. Как же тут найти слова, чтобы хоть кто-то поверил, что мы счастливы сейчас — искренне, глубоко и полно? Не знаю. Я не найду. А посмотреть на нас со стороны — на грязную эту рвань на нас, на наши лица, уголовные уже давно, на этот сарай и бочку. Нет, я не смогу, к сожалению. Но при случае попробую. Обязательно.

И сейчас вот я лежал и тащился, и ужасно мне было хорошо, и совсем я не думал ни о чем, только изредка мелькали куцые обрывки о приятном: что свидание с женой уж вот-вот, что покуда с табаком все в порядке, и не все еще семь рублей, что можно тратить в месяц на ларек, я истратил, и что есть еще банка повидла, ее вечером съедим под чифир, и что в пятом отряде есть какая-то книжка у завхоза, мне сказали, ее надо будет взять, неважно, что за книга, ибо на день будет что-то почитать. И в санчасть надо к Юрке-Хирургу забежать, обещал, что завезут ему чай, поделится. Вот такие приблизительно были мысли — и не выше, и не ниже, и не другие. Я тащился. Вряд ли кто-нибудь признал бы во мне сейчас того недавнего человека, почитавшегося за интересного собеседника, не последнего за дружеским столом, вообще удачника во многом, что считается жизненной удачей. А вчера еще был я в бане, добавлю, был чист и одет синзу в чистое, и об этом было тоже очень приятно на короткое мгновение подумать, и себя при этом как бы ощутить — продолжающего жить и сохранного.

Послышались осторожные шаги — я уже сидел, готовый вскочить, с понтом нес топор на склад, зашел подкинуть дров, чтобы биндюга не остыла до бригады, но в узкий и низкий дверной проем биндюги протиснулся, боком и чуть согнувшись, тихий мужичок Саша из третьего отряда, приходивший к нам погреться иногда — в их биндюгу мужиков блатные не пускали.

— Можно? Есть тут кто? — спросил он. — Не помешаю?

Вежливая робость его была разумна — здесь могли сейчас сидеть блатные из его же или другого отряда, да и самая темнота означать могла что угодно: кто-то роется в своем тайнике, к примеру — это верная неприятность для внезапно пришедшего чужака; вообще никого могло не быть, но тогда чужому сюда и заходить было нельзя. Смешные мальчишеские игры, но отвечать приходилось собственным хребтом, вот и отнесись попробуй несерьезно.

— Заходи, Саша, — сказал я. — Заходи. Сигарету хочешь?

— О, — только и выговорил Саша. С куревом у него, как у всех почти в лагере мужиков, было плохо. Бережно и благодарно взял он протянутую сигарету, прикурил от моей, сел у печки и, коротко повозившись, смолк. Потащился. Очень уютно теперь мерцали два наших огонька и полоса от неплотно прикрытой печной дверцы. Я лениво подумал, что забыл или не знаю, по какой статье сидит Саша, задавать такой вопрос было небезопасно, ибо мог последовать часовой занудливый рассказ, изобилующий тягомотными подробностями, но любопытство мое взяло верх, и я спросил все-таки:

— Саш, ты за драку торчишь или палатку на уши поставил?

— Магазин, — ответил Саша благодушно. — Но у меня еще сто сорок седьмая.

Вот-те на: у недалекого тихони Саши статья за мошенничество. На зоне вообще было всего три-четыре человека, сидевших по этой статье, требующей все-таки умственных способностей и усилий. Стоило рискнуть и расспросить. Ладно. В крайнем случае засну на полдороге, подумал я, Саша на меня не обидится. Долговязый, вяловатый, очень добрый флегматик, ни на что на свете он не обижался, был покладист, малообщителен и застенчив. Ну и мошенник теперь пошел, прости Господи, подумал я. Что же ты наделал, Саша?

И прекрасный, в меру лаконичный, очень связный я услышал рассказ, в несчетный раз удивляясь тому, как я не разбираюсь в людях и как они замечательно неожиданны.

Саша, как он выразился, — преподавал тепло, то есть работал кочегаром в котельной школьного здания. В октябре прошлого года, когда вовсю уже топилась их система, Саша выходил в ночную смену, а часам к двум дня, отоспавшись уже после работы и не зная, куда себя девать, сидел у ворот на скамеечке, ожидая конца дневной смены и вечернего домино с

приятелями. Каждый день. А напротив, у большого жилого дома через дорогу, каждый день в этот час останавливалась черная "Волга" и какой-то начальник поднимался домой обедать. Саша познакомился с его шофером, и тот пускал Сашу в машину слушать по приемнику песни, до которых Саша, как выяснилось, был еще в деревенской своей молодости чрезвычайный охотник. Даже флегма в его голосе исчезла, когда он вспомнил, как любит песни. Но конечно, пояснил он мне, не иностранные, хоть есть и ничего, а только наши, где понятные слова, потому что все слова под музыку, сказал он, действуют на него необычайно сильно. Словом, отоспавшись после смены, каждый день он минут сорок тащился под музыку в персональной чьей-то казенной "Волге". Приблизительно через два дня на третий хозяина машины обуревали, очевидно, идеи равенства, братства и демократии — тогда он звал шофера с собой, и того на кухне тоже кормили. Саша в это время оставался один, шофер проникся к нему настолько, что не вытаскивал даже ключ зажигания. Тут-то и возник однажды собратитель-узбек с расположенного неподалеку рынка. Рынок этого сибирского нефтяного городка изобиловал южными людьми, привозящими сюда фрукты — открыто для всех, а наркотики — для растущей с каждым годом тайной клиентуры. Узбек несколько раз хищно и тщательно осмотрел со всех сторон машину, грамотно и тактично, словно врач — по груди или спине пациента — постучал по ней легонько кончиками пальцев, проверяя, очевидно, корпус каким-то ему известным способом, после чего просунулся в окно и спросил, не продается ли эта "Волга".

— Купи, — ответил ему Саша равнодушно. На машине висел номер, ясно показывающий ее казенную, да притом еще начальственную принадлежность, что-то типа ряда нулей и последней значащей цифры, попросту такие запоминающиеся номера никогда не вешают на автомобили. Но узбеку это было, очевидно, все равно. Живо и обрадованно растворил он дверцу и плюхнулся возле Саши.

— Сколько просишь? — деловито спросил он. Отступать было поздно, неудобно. Саша безразличным тоном назвал цифру двадцать тысяч — сумма эта казалась ему столь астрономической, что узбек должен был немедленно убраться восвояси. В это время — Саша помнил точно — пелась песня "Я так хочу, чтобы лето не кончалось", которую он слушал уже в сотый, наверно, раз, почему и сейчас хотел дослушать спокойно.

— Пятнадцать, — горячо сказал узбек. И так как Саша отключенно молчал ("Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды..." — пела пошлая потасканная певица пошлые затасканные слова, жарко любимые Сашей), то узбек немедленно добавил:

— Шестнадцать и две канистры виноградного вина.

— Крепкого? — спросил Саша, очнувшись. Эта надбавка прельстила его сразу и наповал, совратила с честного до той минуты жизненного пути, определив последующую судьбу надолго вперед.

— Градусов восемнадцать, — сказал узбек-искуситель. И тут же испугался, что мало. — Могу чачу налить, — сказал он. — У грузина возьму.

— Чача лучше, — солидно сказал Саша. — Деньги при тебе?

— У меня только пять тысяч, — захлебывался узбек, и глазки его сияли. — Сейчас же звоню брату, он завтра прилетит с остальными. И винограда еще дам. Или дыни хочешь?

— Посмотрим, — сказал Саша. — Пробовать машину будешь?

— Вижу, что на ходу, — отозвался узбек. Он-то знал, сколько стоит "Волга" на самом деле, так что с этим сонным дураком полагал за лучшее сладить немедля.

— Тогда сделаем так, — рассудительно и неторопливо сказал Саша, хотя мозг его работал сейчас остро и лихорадочно — вовсе не над тем, что подумают приятель-шофер и его начальник, не найдя машину на месте, и уж вовсе не над тем, как это может обернуться самому Саше. Не о последствиях, не о таких пустяках думал сейчас основательный человек Саша. Он решал куда более существенную проблему: где найти своего утреннего сменщика, чтобы тот и в ночь вышел кочегарить вместо Саши, потому что Саша будет занят чачей, которая, уже ясно было, как дважды два, как бы ни сложились обстоятельства, появится минут через пятнадцать, ибо до рынка и пешком-то было рядом, а тут — машина.

— Сделаем так, — повторил Саша задумчиво, а рука его уже включила зажигание, левая нога уже плавно выжимала-придерживала сцепление, правая уже чуть-чуть ласково поддавала газ, и машина уже шла-катилась, набирая скорость стремительно, потому что кто его знает — мог и раньше выйти шофер из дома, если дали ему легкий обед. Этим рисковать было нельзя. Узбек очарованно и упоенно предавался прелес-

ти езды на машине, куплеиной им за половину ее стоимости иа юге. Саша держал путь к базару.

— Я живу ие там, — сказал узбек. — Я комиату сиимаю, туда поедем.

— Сперва чачу нальем, — отрезал Саша. В багажиике — он зиал это — были две канистры. Чистота их Сашу мало волиовала, лишь бы оказались на месте.

— А потом сделаем так, — в третий раз повторил ои. — Я тебе машииу отдаю, ты ее ставишь у себя, пять тысяч задатка — сразу, остальиые — послезавтра сам зайду. Годится?

— Почему иет? — как можно хладиокровией сказал узбек. Все виутри в ием пело и играло, заглушая музыку из приемника.

Слепой, ио сиисходительиый случай весь тот деиь улыбался Саше своей рассеяииой улыбкой. И пустые канистры аккуратио ждали в багажиике, и грузии иашелся иемедля, и налили чуть розовую почему-то чачу, даже дали сперва попробовать под кусочек острого сыра, и уже через какие-иибудь полчаса ставили оии чериую "Волгу" иа замызгаиiом каком-то дворе, где сиимал себе комиату узбек в старом бревеичатом доме. И уже откуда-то с живота достал узбек две толстеииые теплые пачки деиег, где и сотии были и трояки, и сказал важио, что за ним можно ие считать, ие такой ои человек, чтобы считать за ним деньги. И договорились здесь же вечером встретиться послезавтра, чтобы брату ие лететь сломя голову.

— Пировать сейчас будем, — иеувереиио сказал узбек, очеиь уж ему ие хотелось дольше оставаться с Сашей, коего ои полагал находившимся во времеииом затемиеиии рассудка, так что лучше пусть очнется уже дома. — Плов сейчас делать будем, — сказал ои все-таки, нехотя повииуясь голосу вековых традиций.

— А оформлять как будешь? — спросил Саша. Узбек засмеялся и махиул рукой. Но, сочтя вопрос этот за иачало прояснеиия Сашииого рассудка, больше ие иастаивал иа пироваиии.

Смеищика тоже иашел Саша очеиь быстро, и еще тот был пока трезвый, как стеклышко, и охотио согласился Сашу в эту иочь подмеиить. Все косился только иа две канистры, которые Саша так и иес, и вез с собой в автобусе, словно две хозяйствеииые сумки. Но чачу ему Саша все равио ие иалил, потому что ясио поимал толк в сохраиении уголовиой тайиы.

А друзей у Саши было и раньше в изобилии, а потом и новые иабежали, и очнулся он как раз иа послезавтра где-то в середине дня. Чтобы ему опохмелиться, зараиее была иалита и спрятана большая бутылка из-под вермута. Деньги тоже были иадежно захоронены еще позавчера у одной знакомой — вспомиив о иих, Саша улыбнулся задумчиво, потому что как таким богатством распорядиться, он еще пока не знал. За остальной суммой он идти к узбеку ие собирался, справедливо полагая, что уже или узбек сбежал, или милиция нашла машину. Возвращаться на работу тоже иикакого смысла ие было. И, как солеиая вода только обостряет жажду, мысль о спрятаниых пяти тысячах за какой-нибудь час раздумий разожгла в Саше идею разбогатеть еще более, а потом уже куда-нибудь смыться. Трясина стяжательского азарта, до сих пор неведомого Саше, стремительно поглотила его.

— Как же тебя поймали, Саша? — перебил я, боясь, что история затяиется теперь иадолго, раздробившись иа множество подробиостей, выпивок и встреч с нудным перечислением выпитого и говоренного.

— А я, видишь, в тот же деиь, вечером, в магазии один залез. Там в мешке с вермишелью продавщица выручку прятала, чтоб деиьги домой ие тащить, а сдавала она их только утром. Там я сто рублей деиьгами взял и ящик водки. Ящик в кочегарку отиес, чтобы с ребятами попрощаться по-путному, а деиьги при себе оставил. Вот.

— Не поймали же тебя в магазиие? — не понял я.

— Нет, я сам с повинной явился, — терпеливо объяснил мне Саша. — Тут меня и свели с узбеком. Он, оказывается, с милицией дрался, машину не отдавал, чудак. Я, кричит, ее купил у человека, задаток дал. Пуговицу у меита оторвал. Сопротивлеиие властям.

— А с повинной ты зачем явился? — ие поиимал я.

— Для алиби, — объясиил Саша. — Алиби — это когда тебя иет, где тебя подозревают, что ты был.

Я сказал, что зиаю, что такое алиби. Но зачем оио поиадобилось Саше так, что ои даже с повииной поперся? Поиимал же, что за магазии посадят?

— Коиечно, — снисходительно сказал Саша. — Но за магазин сколько могли дать? Если я еще раскаялся сам? Пустяки. А у меия в поселке, километров десять от города или двеиадцать, кто их мерял, баба одна жила. А работала она иа почте, и иа почте той как раз в ту ночь в аккурат увели

три тысячи — прямо в мешочке как привезли, так с мешком и украли. То ли там зарплата была совхозная, то ли что, не знаю. Только сторожа в ту ночь не было, он в деревню ушел на свадьбу к крестнице. А подумать всяко-разно на меня могли, потому что весь поселок знал, что я с той бабой путаюсь, а она могла сказать, что я от нее знал, что на почту деньги пришли. И что сторож уйдет на свадьбу, он тоже ей сказал. А сидел бы я для алиби у друзей, водку пил, кто бы им поверил, пропойцам? А я как раз в магазине был в аккурат, вот я и пришел с повинной, чтоб алиби. А узбек и подверились — он там два дня уже сидел за драку с милицией. Понял теперь? Не повезло мне просто.

— Понял теперь, — сказал я успокоенно. Сон уже смаривал меня, брал свое душный жар от разгулявшейся печки. Черт его разберет с его логикой, думал я, — пойти с повинной о магазине только для того, чтоб не заподозрили в ограблении какой-то почты далеко в поселке, мало ли где еще можно было побыть на людях для этого алиби.

— Даже водки этой выпить не успел, — тоже сонно и печально бубнил из темноты Сашин голос. — Прямо утром взял и пошел. Дескать, ночью бес попутал, пьяный был, с утра раскаялся. Деньги вот. Может, говорю, простите или как накажете нестрого, сам пришел.

— Э-э, подожди-ка, Саша, — сообразил я, и даже сон с меня слетел разом. — Что-то ты, брат, темнишь. Если ты уже утром в милицию пошел с повинной, то как же ты узнал, что почта ночью обокрадена, что тебе это самое алиби срочно необходимо?

— Так это ж я ее и обчистил, — удивился Саша. — В магазине я все поворошил, с понтом я часа три деньги искал, пока, мол, до вермишели не добрался, а сам на мотоцикл сразу — я давно приметил, где поблизости стоит, — и на почту. Понял теперь?

Вот тебе и глуповатый Саша, — радостно и изумленно подумал я. Выдумка какая безупречная.

— И не докопались?

— Где там!

Саша уже, кажется, спал. У меня, однако, возник еще один вопрос — даже задавать его было приятно здесь на зоне.

— Так ведь, Саша, ты теперь богатый человек будешь, когда выйдешь? Или ты узбеку вернул его пачки?

— Нет, — хвастливо сказал Саша. — Он, правда, от них

и сам на суде отказался. Я, говорит, к этому человеку иикаких претеизий ие имею, сам я просил его машииу продать, и от нска отказываюсь. Молодец узбек. Деиьги-то я ведь ие прнзнался, что целы, сказал — укралн по пьяике. Так я, этот узбек говорит, от иска отказываюсь, и ко мие поворачивается, смеется, я, говорит, как срок отбудете, приглашаю вас к себе в солиечиый Нукус, мы, говорит, очеиь такнх ловких умных людей уважаем, будете у иас жить в достатке. Даже в зале все засмеялись, и судьи, и кивалы.

Кивалами называются всюду иародиые заседатели — очеиь точиое отыскалось слово для бессмыслеииых и бесправиых этих двух лиц, представителей якобы общественности (вот уж понт!), могущих иа заседаиии суда разве что кивать головой, когда судья ради соблюдеиия формы вопрошает их, во всем ли оин с инм согласны.

— Здорово, даже иска у тебя нет, — засмеялся я, радуясь великодушию узбека. — А долежат до тебя эти деиьги?

— Вряд ли, — вздохиул в темиоте Саша. — Я их, видишь, в подполе спрятал, в доме у этой бабы как раз, в подполе их за эти четыре года крысы сгрызут. Их там тьма крыс, оии все подряд едят. Или сама баба иайдет. Но вряд ли. Крысы, коиечио.

— Так ты бы ей иапнсал, чтоб нашла, мол, вытащила и сохранила, — сказал я рассудительио.

— Хрен ей, — сказал Саша, как отрезал. — У иее в выходной, бывало, иа четвертнику ие допросншься. Хреи ей. Лучше пускай крысы пожрут. Да и зачем оии мие, эти деиьги? Только голове смута. Сопьюсь я с иими. Или воровать пойду. Ну их иа хер.

Очевидио, жажда обогащения, столь виезапио обуявшая Сашу, но совсем не прнсущая его душевному строю, теперь полиостью оставила его. Как нагрянувшая и схлыиувшая болезиь. Удивительио мы все разиые люди, думал я в блажеииой полудреме. И какая замечательная хитрость. Рассказать это иадо бы Писателю, что-иибудь непремеиио сделает из такого сюжета. Или иет, я же дневиик веду, запишу все сам, как запомнил, и ие иадо иикакнх украшеинй, до которых так охоч Писатель.

Саша сопел и похрапывал в темноте, сиилось ему что-то приятиое. Вообще, я давио это заметил, что в тюрьме, что в лагере — одииаково сиятся велнколепиые радостиые сиы. Потому еще здесь, быть может, просыпаться тяжелее, чем иа воле.

ГЛАВА 4

Женщины лагеря — педерасты — парни и мученики зоны. Этот путь для большинства из них начинается издалека, еще в тюрьме. Чаще всего в наказание — за воровство в камере, за донос, в котором уличили (и просто по подозрению порой), за какой-то проступок еще на воле, о котором сообщили в тюрьму. Для других, для многих — ни за что, по системе игры, издавна существующей в тюрьме и особенно привившейся у малолеток. Взрослые в эту игру начинают играть от скуки, или если кто-то приходит в камеру всем особенно несимпатичный, или просто, наконец, если есть заводилы игры, инициаторы ее и активисты. Так однажды в совершенно спокойной взрослой камере следственной тюрьмы в Волоколамске, где сидели мужики под тридцать, появился при мне двадцатилетний мальчишка, за избиение кого-то в лагере привезенный для получения нового срока. За неделю его пребывания камера преобразилась, он послужил словно центром кристаллизации всего темного, что бродило в остальных, ища себе выхода. Сразу двоих — с разницей в несколько дней — превратила камера в педерастов, и нельзя было остановить этот на глазах совершающийся страшный процесс — я, во всяком случае, не сумел. Третьего, очередную очевидную жертву, мне спасти удалось. Путем неожиданно удачным: отчаявшись в уговорах и не в силах видеть побои, я громко заявил, что выламываюсь из камеры, то есть зову начальство и прошу меня перевести. Забавно, что подействовало это. И не столько в силу сложившихся превосходных отношений, а из-за некоего странного и смешного престижа: нашу камеру часть тюрьмы знала благодаря мне — я отгадывал кроссворды, и сокамерникам очень льстило, когда вечерами нашу камеру выкликали разные другие, прося, к примеру, чтобы срочно им назвали хищную рыбу из пяти букв. Как было лишиться такого человека? И остался нетронутым третий, хотя полностью уже был подготовлен: спал он под шконками, и глаза боялся поднять, и за общий стол не садился.

Тюремная игра эта — знаменнтая пропнска, ей пугают зелеиых зеков еще раньше, еще в камерах предварительного заключения в милиции, где всегда иаходится бывалый или просто болтливый и охочнй иапугать сосед.

Пропнска новенького в тюремной камере — это снстема вопросов (илн прнколов), задаваемых ему старожиламн. Начинается с простых и ие сразу. Два-трн дня живет в камере человек, н чего он стоит, обычно видно очень быстро. Еслн стоющнй, свой, привычный парень — отмеияется, забывается традиция. Еслн чем-то не понравился: труслив, например (это видно, ох, как сразу видно в камере), илн жаден (тоже очень скоро становится заметно), неумеренно хвастлнв илн надмеиеи, и дурак еслн к тому же, иеряшлнв, вызывающе забывчнв к этикету камерной жнзин... Впрочем, о последнем — отдельно.

Мы н едим в камере, н храним здесь продукты из передач и ларька, а параша — она стонт тут же, и ннкак не унять н не уменьшнть естественные отправлення человека, а если камера еще битком набнта, переполнена илн просто человек на тридцать-сорок... Так возиикли простейшие правила, сразу же объясняемые иовичку: на парашу — только, если никто ие ест, даже в дальнем углу если никто ничего не жует, н наоборот — если кто-ннбудь сидит на параше, то нельзя даже на секунду приоткрыть занавеску, укрывающую полку с продуктамн или дневиыми пайками хлеба. Если даже просто где-ннбудь открыто лежнт еда — хлеб, забытый на столе, например, или не задернута занавеска продуктовой полки — путь к параше запрещен. Весь нехнтрый рнтуал этот — разумная условность: если нам столовую и уборную унизнтельно соедннили в одном пространстве, то мы нх разделяем временем. Очень важный для душевной сохранностн ритуал. Нарушаемый — что поразительно — то и дело. По неряшливости, по забывчивостн, по иевидимой для себя самого н неощутнмой сдаче души тем силам, что иеумолимо и иастойчнво иачннают в тюрьме, а потом иа зоне толкать человека по иаклонной плоскостн вннз — к безразлнчню н опустошенной апатии. Это быстро выразнтся н внешне в полном равнодушнн к своему виду, облнку, состоянню. Но забывчивость эта, виднмое пренебреженне к окружающнм вполие могут явиться и следствнем внутреиието, душевиого хамства, иаплевательства к чувствам н ощущенням другнх.

Итак, он замечен в этом. Да еще несимпатнчен, непрнятен сразу иескольким. И камера решает: прописка. Тут еще огромную роль нграет, разумеется, н фнзнческая сила новичка (хо-

тя те двое, например, чье падение я видел в Волоколамске, были очень здоровые молодые ребята — главное все-таки в силе духа, во внутренних данных человека). Хилые — в куда большей опасности. Слабодушные, трусливые, нервные в особенности. Но даже вполне развитый физически, с каждым по отдельности могущий справиться новичок — он ведь противостоит сейчас всем, да и камера кажется ему на первых порах монолитно сплоченным коллективом сжившихся и сдружившихся уголовников, знающих уже нечто, до чего ему еще далеко. Он обычно насторожен, сдержан и осмотрителен. Если же слишком он хорохорится и бодрится — верный признак внутреннего испуга, еще более привлекающий внимание желающих поразвлечься. Словно у страха есть легко различимый запах (а так и кажется порой, что есть), возбуждающий звериные инстинкты. И — прописка.

Предлагают поиграть в игру. От тюремных игр не отказываются. В летчики и шахтеры, например (игр много). Кем ты будешь ? — спрашивают новичка. Неизвестно и непонятно то и другое. Ну, шахтером, отвечает он. Тогда ползи под шконками, там забой, собирай уголь. Он ползет, обтирая пыль и грязь под нарами. Вылезай. А теперь кем будешь? Ну, наверно, лучше летчиком, говорит он. Ему завязывают глаза полотенцем. С какой шконки будешь лететь — с нижней или с верхней? — спрашивают его. Испугался если, скажет — с нижней. Но уже он слышал и понимает, что главное — ни в каких обстоятельствах не проявить себя трусом. С верхней, отвечает он. А на домино будешь падать или на расставленные шахматы? — спрашивают его. Когда стоишь с завязанными глазами, очень живо, очевидно, представляется картина того, как летишь плашмя с двух метров на острия расставленных фигур. Плохо, если выберет новичок домино: и свалиться его заставят, и прописка начнет ужесточаться. Если же преодолеет себя и спокойно скажет: на шахматы, будут еще минуты три страха и только. Пока расставят фигуры, пока подсаживают на шконку, и секунды самые страшные, когда надо самому слететь с нее — свалиться всем телом вниз вслепую. Резко дернувшись — была не была — плюхается он, ожидая острой боли, но падает на растянутое одеяло.

Только игры эти не всегда так безобидны. Могут предложить другую (выбор целиком зависит от настроения камеры). Новичку могут предложить состязаться с кем-нибудь из старожилов в стойкости к боли. Им обоим завязывают глаза (спер-

ва старожилу), сажают по обе стороны стола, и мошонку новичка, он чувствует это с ужасом, затягивают тонкой веревкой, конец которой — как ему объясняют — дается в руки сопернику. И ему вручается конец так же привязанной веревки. Начало — строго по команде. Он стремительно натягивает веревку, ощущает невыносимую боль, кричит и тянет сильней, но боль еще острее, и он почти теряет сознание, ибо тянет сам себя — веревка просто перекинута вокруг стола. Ему развязывают глаза и смотрят, как он отнесся к издевательству.

Новая игра — автобус. Это новичок, становящийся на четвереньки, а ему на спину взгромождается кто потяжелей. Поехали! Новичок проходит метра два-три, то пространство, что есть обычно в камере, останавливается повернуть и передохнуть. Всадник-пассажир спрашивает его, какая остановка. Соблюдая тон игры, новичок называет какую-нибудь. Поехали дальше! Это будет длиться до тех пор, покуда он не догадается сказать: остановка конечная.

Очень много вопросов на сообразительность. Вообще разум ценится в тюрьме и лагере. Не потому ли, что среди попавших сюда — множество умственно недоразвитых, отсталых и неполноценных? И еще нельзя в игре показывать, что обижен, уязвлен, оскорблен. Игра есть игра. Например — в звездочеты. Звездочет-новичок лезет под телогрейку и должен сквозь ее вытянутый кверху рукав — телескоп — считать громко звезды, нарисованные на бумаге — он их ясно видит через рукав, как сквозь трубу. В это время на него через рукав неожиданно выливается таз холодной воды — таз для стирки, именуемый почему-то Аленкой, всегда есть в камере. Как новичок отреагирует на это, вылезая мокрый под общий хохот окружающих?

Ты меня уважаешь? — спрашивает кто-то из старожилов. Да! — готовно отвечает новичок. Тогда выпей за мое здоровье кружку воды. Он выпивает. А меня уважаешь? — спрашивает второй. Тогда и за меня кружку. А в камере, как правило, больше десятка человек. Кружек после трех-четырех это становится пыткой. Догадайся, новичок, на второй или на третьей кружке догадайся сказать, что уважаешь всех и пьешь последнюю за общее здоровье.

Сколько в камере углов? — спрашивают его. Четыре, — отвечает он, не задумываясь. Неверно. Угол на языке прописки (вообще-то не употребляется это слово) — уголовник, на-

до назвать число людей в камере. Но откуда новичку знать об этом? И ие иадо зиать, цель большииства вопросов — имеиио в том, чтоб ие было ответа, ибо глупые эти детские вопросы за неотвечание наказываются битьем — но об этом чуть позже. И полиым-полио поэтому вопросов, иа которые вериых ответов ие дашь, если их ие знаешь заранее, — тут, кстати, заодно выясияется, с кем общался иовичок иа воле, ибо миогие из сидевших раиее приносят домой рассказы о прописке. Для зиающего делается скощуха — умеиьшается число вопросов или отмеияется прописка.

А за все неправильные ответы назиачается число штрафиых ударов — коцев. Коцы — это вообще любая обувь, коц — это сильиый удар подошвой сиятого туфля (или сапога) по слегка оттопыреииому (иовичок иаклоияется сам) заду. Боль терпима, хоть и сильиа, а от ударов десяти-пятиадцати на ягодицах появляются синяки, с неделю мешающие сидеть.

Но теперь-то и кончаются пустяки (прописка длится несколько дией). Теперь, когда ои зиает, что такое боль от коцев, задается первый зловещий вопрос:

— Триста коцев или глоток из параши?

И ие дай тут Господи струсить перед ожидаемой болью. А иа этом вопросе миогие пасуют, бездумио предрешая себе будущее. Вообще в тех семи тюрьмах, что довелось мие повидать, была уже каиализация, сделать чисто символический глоток проточиой воды из параши кажется мало зиачащим перед иесравиимо более страшиой, уже известиой болью. Но кто сделал это, стаиовится чушкой, чушкарем — прозвище тюремиого изгоя. Ои теперь будет есть отдельио, и иикто ие подаст ему руки. Его может оскорбить и ударить любой — и не вздумай ои дать сдачи — коллективиая ждет его расправа. Он переступил порог, ои в иной теперь тюремиой касте. А ошалевшие от безделья двадцатилетиие дети в эти жестокости играют всерьез. Чушка ест отдельио, а ие за общим столом, убирает камеру ои, скоро ои будет и стирать иа всех, а зайдет разговор о драках, ои будет поставлеи посреди камеры в качестве тренажиого маиекеиа, и иа ием будут показывать удары и болевые приемы. Через иебольшое время его почти иеминуемо сделают педерастом, если не успеет ои за этот срок уйти иа этап, выломиться из камеры, попросив об этом иачальство (ио ие объясияя, в чем дело, разумеется, доиосы караются иезамедлительио при первой возможности). Но и в иовую его камеру подкричат через решетку или иа прогулке, переда-

дут записку, даже рискуя карцером и побоями от надзирателей, — нет, покой он получит на время только в специальной камере для обиженных. Но это только перерыв в его почти уже обозначенной судьбе.

Триста коц, отвечает не побоявшийся, разделяющий общее (чисто игровое, символическое) отношение к параше и всему, что связано с ней. Триста ударов лучше, отвечает он. И будет вознагражден: ударят его раз десять — и скощуха.

Но вопросы еще не кончены. Безобидные (не очень страшные, вернее) перемежаются со всерьез опасными.

— Пику в глаз или в жопу раз? — спрашивают его. Трудно верить, но я видел сам, как сдался молодой парень именно на этом вопросе. Пика предъявляется тут же, и это действительно серьезное оружие: очень остро заточенный длинный черенок столовой ложки выглядит, как нож или скорее стилет. И все-таки, найдя в себе силу отчаяния, новичок выбирает пику в глаз. Это очень страшно, ибо его еще ударить он должен сам. Завязывают глаза носовым платком, дают в руки этот стилет из ложки. Бей! Надо видеть в такой момент лица испытуемых, это словами не описать. Бей! Мешает инстинкт самосохранения, он осторожно приближает — прислоняет острие к глазу. Бей с размаху, рычит камера азартно и угрожающе. Он убыстряет движение, но все-таки останавливает острие перед самым глазом — все естество его сопротивляется сейчас, он дрожит, покрываясь потом. Бей, хуже будет! — настаивает толпа. И ведь бьют себя, вот что поразительно. С размаху, отчаянно. Стоящий сбоку успевает (говорят, всегда) подставить тетрадь или припасенную обложку книги, он для этого и стоит наготове. Это одно из последних, часто последнее испытание. Новичок теперь полноправный житель тюрьмы.

Таковы мерзкие и мрачные игры недоразвитых жестоких детей. Их традиция то затухает, то вспыхивает вновь, и не только у малолеток. Но когда я в разговорах осуждал их, мне возражали с жаром и убежденностью. Говорили об испытании мужества, о вообще проверке человека на вшивость, о возможности сразу определить, кто при случае, испугавшись боли (а менты, надо сказать, умеют бить), — выдаст, расколется, донесет. Что-то есть в этом оправдании, что-то есть, и навряд ли с этим стоит спорить. Только еще более явно есть в этих играх психологическое назначение: выделить сразу и отчетливо тех, на ком можно легко и невозбранно сорвать злость от своего бессилия, унижения и бесправия, тех, на ком сможет

беспрепятственно разрядиться вся накопившаяся ненависть, весь запал воспаленных нервов — выделить кого-то, кто ниже, ибо это значит, что ты сам еще не на самом дне. В лагере это разделение продолжается более явно и еще более усложняется.

А бывает и вовсе просто: предлагает старожил новичку: давай, мол, сыграем в шашки. Под интерес? Нет, на просто так. И хищно настораживается камера. Это "на просто так" означает ставку на сдачу себя в педерасты, это все, кроме новичка, знают, он же узнает, когда будет поздно. И никак не сможет отказаться. Ибо рычаг принуждения — побои, носящие тут как бы законный по тюремной традиции характер. Коллективные, длительные, безжалостные. В перерывах — будут уговаривать, что, мол, ничего страшного, только один раз и тогда побои прекратятся. Не хочешь, так давай в рот. Последнее, как ни странно, соблазняет многих, отупевших уже от боли и унижений, отчаявшихся, ищущих любого выхода.

Но нет, не прекратятся побои. Он уже другой теперь, он петух (так зовут на зоне педерастов), и кошмарна его судьба — безнадежна до конца его срока. Он теперь отделен ото всех этим своим новым качеством, кто угодно бьет его, кто угодно унижает, что угодно можно заставить его делать. И уступит он себя скоро — полностью и таким поедет на зону. В лагере петухи выполняют самые тяжелые работы, и еще их поднимают раньше всех, чтоб они мели и убирали двор, очищая его от мусора или снега, мыли все углы и закоулки в бараке. И едят они отдельно ото всех, и посуда у них — отдельная, и вповалку они отдельно спят. Кому скучно — бьют их или издеваются, заставляют потехи ради драться друг с другом, человеческий облик большинство из них теряет совершенно. Их запуганность, опущенность и забитость — свидетельство того, как безжалостен ущемленный человек, сам довольно сильно поутративший в себе человеческое.

Посажу тебя за первый стол (где сидят прямо у входа петухи) — самая распространенная в лагере угроза. Превращение в петуха — самое страшное наказание. Это часто делают в изоляторах, если попадает туда известный доносчик (или крепко подозреваемый в этом) или крысятник — пойманный за кражей у своих, это делают с человеком, сводя за что-нибудь с ним счеты. Это очень страшная месть. Ибо нет здесь пути назад, возвращения в свое прежнее качество. Опустить, то есть превратить в педераста — можно, забыть это и стереть

— никто не позволит. Первым — сам несчастный, знающий, что с ним будет за сокрытие где-нибудь на новой зоне своей былой принадлежности к презренной касте. Хорошо, если от неминуемой расправы он останется калекой, но скорей всего — добьют до конца. Ибо даже те, кто с ним общался, еще не зная, что он петух, тоже теперь могут быть при случае наказаны посадкой за первый стол. Нет, скрывать это никто не рискует.

Только снова о тайных свойствах человека — это, может быть, сильней всего потрясло меня в лагере, когда узнал. Дело в том, что почти все петухи через какое-то (разное у каждого, но сравнительно небольшое) время — начинают сами испытывать сексуальное удовольствие. Совершенно полное притом — они так же, как мужчина, использующий их как женщину, — приплывают, как говорят на зоне. А начав испытывать удовольствие, порой сами уже просят о нем зеков — преимущественно блатных, олицетворение мужчины, хозяев зоны. А на воле у них у многих — жена и дети, — кем они предпочтут остаться, вернувшись? Не знаю. Как и не пойму никогда эту невероятную приспособляемость венца творения.

Часто здесь подходит ко мне, приволакивая заметно правую ногу, подходит, одного меня не боясь на зоне, петух Люся (всем им даются женские имена, прежние забываются начисто, они и сами называют свое женское имя, если их спрашивают, как зовут). Он стреляет у меня покурить. Лет ему чуть за восемнадцать, и огромные голубые глаза, и замученное, настороженное лицо. Из тюрьмы он уехал только чушкой — повезло, забрали из камеры на этап. А в столыпине — нелепая случайность: у него с собой было сало, и кусок у него кто-то попросил. Он его машинально протянул, забыв предупредить, что он чушка. А может быть, надеясь это скрыть. Били его там сапогами, повредив при этом позвоночник. Очевидно, ущемлены нервы, вот он и волочит теперь ногу. Педерастом он стал там же, в вагоне. Жалко его до боли, но уже ничем не помочь.

А с неделю назад лысый невзрачный мужичонка, скорей старик, встретился мне возле санчасти и остался стоять, когда я, подвинувшись, позвал его присесть на скамью. Он ждал врача, очевидно, а я — приятеля из того же отряда, что старик. Отказался — значит, петух, знающий, что ему нельзя садиться с остальными. Подошел приятель, подтвердил. А за что ж такого хилого и старого? Стучал? Нет, сказал приятель, еще хуже. Он сидит за то, что, заманив конфетами и пряника-

ми, расковырял пальцем девственную плеву у двух девочек-сестер трех н шести лет. Мать случайно обнаружила это по раздражеиию кожн, купая нх, а потом н пойдя к врачу. Их отец пытался его убить, но отняли. Судили, и вот он здесь. Остальиую часть иаказания взяла иа себя зона. Согласнсь, что это справедливо? — спросил прнятель, зиая мою иескрываемую жалостливость к петухам. Абсолютно справедливо, ответил я, сам бы принял участие. Буду иметь в виду, радостно засмеялся приятель.

Там, где спят педерасты, шмоиов не бывает иикогда. Потому что даже меитам западло прикасаться к нх вещам. По причине, кстати, весьма забавиой: по заботе о своем будущем. Кто там зиает свою судьбу: вдруг уволят из внутреиних войск или даже ие уволят — вдруг за что-ибудь сядешь? В безопасное, правда, место — в специальиый лагерь, где содержатся преступившие закои охраиители правосудия. Там свон у ннх есть петухи. И своя иалажена ииформация. Вдруг дозиаются, что когда-то где-то рылся ты в имуществе педераста? Непремеиио станешь петухом. Это мие рассказывал молодой лейтеиант-отрядный, н такой в нем проступил наружу дворовый шпанистый мальчишка, что приятно и страино было вдруг увидеть в ием сохраниого человека, а не затяиутого в мундир блюстнтеля.

Одного петуха я запомию иа всю жизнь. Мы с ним встретились в Калужской пересыльиой тюрьме, где сидело иас в камере, как обычио, втрое больше того, иа что она была рассчитана, и вповалку тесио спали иа полу и иа нарах. Было жарко, было грязио и душио, хотя потолки в этой тюрьме времеи Екатериины Великой были очеиь высокие. Здесь сошлись этапы, идущие иа восток из разных тюрем, в том числе — нз зиамеиитой спецбольницы в Смолеиской областн, широко и зловеще известной своими иравами. В иаказаиие за малейшее ослушание там кололн больиым огромиые порцнн галопнридола н сульфазииа, вызывающих жуткую боль во всех мышцах тела — человек пластом лежал иесколько часов после укола, а потом еще долго отходил. Несколько таких, получивших порцию перед отъездом, ходили вялые, словио прншибленные чем-то, засыпали где попало, медлеиио приходя в себя. В этом этапе оказалось трое петухов — спали оии отдельио ото всех, иа полу возле самой параши, и весь день сидели там же, не осмеливаясь двииуться с места. Двое были уже в возрасте, а одии, рослый пареиь с симпатичиым большелобым и большегубым лицом — двадцати с иебольшим. Было иас там человек шестьде-

сят-семьдесят, а когда все прижились и разместились в камере, то в углу отыскалось даже свободное место, его завесилн рваиым одеялом, кинули иа пол замызгаиный тюфяк, н туда по вечерам двое-трое короткнм окрнком звалн этого парня, как собаку, и ои покорно и торопливо шел. Получал ои за это две-три сигареты, иногда кусок сахара илн печеиье — у кого-то, видно, сохранились еще остатки тюремных передач. А потом иас выкликнули, собралн, подержалн часа трн в отстойнике, выдали хлеб и кильку (кажется, килька была в тот раз, не треска), затолкнулн в автозеки, до отказа иабивая иами эту железную коробку, последних уже собакой подтравливая, чтобы вместились, привезли иа вокзал и всадили в столыпии в подошедшем составе. Это был очень тяжелый перегои — трое суток нас везли до Челябииска. А коивой попался просто дурной — все зависит от характера и иастроеиия конвоя на таких перегоиах. В каждой клетке-купе было нас человек по восемнадцать, н по очереди мы спалн на вторых н третьих полках, где можио было лечь, а сидевшне внизу дремали, ожидая своей очереди блаженно вытянуть иоги. Молодые коивоиры в наказание за какое-то возражение закупорили наглухо окнафорточки, что были с нх стороны, духота стояла иеимовериая. А за что-то, уж ие помию за что (кто-то выкрикнул, должио быть, какую-ннбудь ругань в их адрес), не давали иам воду почти весь первый деиь. А кормились-то мы килькой и хлебом, да еще жара иа дворе — июиь. Словом, трудный это был перегон. Целнком я помню его плохо.

Этот парень оказался в клетке у иас и лежал иеподвижио иа полу под лавкой, прижимаясь тесио к стеие, чтобы сидящие ие били его иогами, задевая и иа него же озлобляясь — больше ие на ком ведь было выместить чувства, что душили нас до красного марева в глазах.

А к исходу вторых суток полегчало сразу н сильно. На какой-то стаиции выкликнули н высадилн ехавшнх на поселеиие, остальных распределилн слегка, н камера наша показалась сразу просториой н для дыхання вполие сиосиой. К тому времени и конвой перестал лютовать, уставши; стало миого свежей в вагоне от слегка приспущеииых стекол, н не мучила уже жажда, только что напоилн иас, разиося ведрамн воду — пей, ие хочу; н уже сводили в сортир, по пятнадцать секунд иа человека, а потом тычок по голове или в спииу, если задержался; н за окнамн летнне мягкне сумеркн проступилн, н тем, чья очередь лежать иаверху, видио было, как мелькает, мелькает и

проносится в окнах продолжающаяся всюду жизнь. Только ей мы любовались недолго, всех нас быстро сморил сон — первый настоящий полный сон за это время, а не дремотное тяжелое забытье.

И присиилось мие — я спал наверху, — что сижу я с друзьямн, выпив водки, и кто-то них поет одну из моих любимых песеи. Я в тюрьме н потом на зоне слышал много разных песен, только те, что я любил, ие пели — я был старше большинства остальных почти вдвое, и те песии, что я любил, были для них вчерашним днем. Как ин странно, пели молодые большей частью то же, что слыхалн по радио н в кино — в содержание, что лн, онн не вслушивались? Не знаю. Не о том сейчас речь. Ибо мне-то сиилась одна из тех, нз нашей молодости сиилась песня. В электрнчках пригородных пели ее калекиннщие в старых гимнастерках. Я проснулся, а песня продолжалась. Тнхо-тихо, но пелн ее прекрасно. Как я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россню ответчик, а ои спал с моею женой. Я заглянул в люк, выпиленный в средней полке, которая откидывалась иа петлях, соединяя две боковых полки в однн настил.

Тихо пел, чуть высунувшись нз-под нижней лавки н опершнсь головой на руку, тот несчастный парень-педераст. Голос был нзумительный — иет, я ие разбираюсь в певческих голосах, просто слушать было приятно, он был очень под стать песне.

Я перебрался через спящих и спрыгнул винз. Ои, увидев меия, иасторожился, замолчал, ио не спрятался — уже чувствовал, очевидно, и безошнбочно различал людей по степени опасиости для себя. Я попросил спеть песню с самого иачала и впервые увидел на его лице слабую улыбку. Она очень красила н очеловечивала его, у большинства петухов — ие лицо, а неподвижиая маска. Настороженность, зачумлеииость, страх. Ои запел. Очень негромко он запел, но постепенно просыпались нашн попутчнкн. Когда одии из них сказал что-то унизнтельиое в его адрес, я резко оборвал, мог такое себе позволить, в клетке иашей ехали старые мон прнятелн по этапам. Больше ему ие мешали петь.

Уже не помию, о чем ои заговорил, — кажется, пожалел, что иет гитары. Я спросил его что-то, он ответил. Очень здраво, очеиь спокойио. Мельком вспомиил о друзьях, оин на выпнвках всегда просили его спеть. Что-то он сказал еще, оживился, на мгиовеиие потеряв свою опаслнвую скованность, и я вдруг

ясно увидел, что еще совсем недавно он был душой компании, его любили, все было ясно и привлекательно в его судьбе. А после — кража. Случайная, мелочная, глупая. Два года. Где и как он споткнулся в тюрьме, как попал в Смоленск, отчего начались побои, которых он не смог выдержать? Я бы спросил его об этом, будь мы вдвоем, но сейчас мне стало его жаль: неминуемы были бы насмешки над ним и издевательства, а могли вдруг проявиться обстоятельства, за которые снова его начали бы здесь бить, а такое я не мог остановить, по тюремному канону был не вправе. Так что я его толком не расспросил. А он вскоре с чуткостью всех гонимых и ущемленных понял, что уже достаточно, и молча нырнул под лавку глубже. Я еще покурил немного, дав сигарету и ему — с бережностью он взял ее, стараясь не коснуться моих пальцев — это строжайше запрещено касте петухов, и курил, блаженно и небрежно откинувшись головой на грязный пол вагона. Мы молчали оба. Я все время думал о нем, сочиняя себе его прошлую жизнь и соображая с ужасом, что помочь ему ничем не могу — эти люди обречены. Если он, даже приехав куда-то, где никто его не знает, скроет свою тюремную масть, это рано или поздно обнаружится, неисповедимы пути связи между лагерями. А тогда наказание неминуемо — коллективная расправа с очень частым смертельным исходом, видел я такое позже сам. Я кивнул ему головой ободряюще и благодарственно и полез к приятелям наверх.

А часов через семь-восемь был уже Челябинск, встречающий нас конвой, сидение на корточках, собаки, автозеки и тюрьма постройки годов двадцатых. То ли белые ее строили для красных, то ли красные для белых, как сказал мне спрошенный надзиратель. Нас, как водится, загнали в отстойник, где часа три-четыре предстояло нам дожидаться, пока нас обыщут, сводят в баню и рассортируют по камерам, и этап наш, тесно сгрудившись, заполнил отстойник до отказа. Но в углу все же нашлось место — группа молодых парней его собой оградила, стоя бок о бок спиной к остальным, и туда проходили по одному. Кто блудливо и косо ухмыляясь, кто деловито нахмурившись. Цепь стоявших размыкалась время от времени, и один раз я увидел своего попутчика-певца. Он стоял в углу на коленях, опираясь спиной о стены. Мне, естественно, бросился в глаза его рот с ярко-красными воспаленными губами. Я отвернулся и протиснулся ближе к воздуху, текущему сквозь решетку. Больше я его уже не встречал.

* * *

Кстати, там же, в Калужской пересылке, познакомился я с замечательно интересным человеком — очень жаль, что быстро мы с ним расстались. Вообще, отстойник в тюрьме — одно из самых примечательных мест. Это огромная камера, только нар в ней нет, и туда запихивают всех подряд, прибывших по этапу — чтобы через несколько часов распределить в камеры по режимам: общему, усиленному, строгому. Это разделение по режимам принято, очевидно, чтобы опытные преступники не воспитывали начинающих. Глупо, все равно ведь в камерах при милиции все сидят вместе. А бывалые как раз куда лучше держали бы дисциплину в камерах — благодаря своему опыту. Но начальственная мысль не дремлет, и все режимы варятся в собственном соку. А в отстойниках есть возможность пообщаться.

Правда, связана она с риском, эта возможность — обособленными группками держатся этапы, опасаясь за свой нехитрый скарб, за остатки продовольствия, просто боясь попасть в непонятное. Я, когда удавалось, с радостью общался с теми, кого более уже не встречу, как понимал. И в Калужской пересылке, подойдя к группе строгачей с просьбой посмотреть роскошную самодельную доску для игры в нарды (не отобрали почему-то), встретил я Эдика Огородникова. Он, точнее, сам ко мне придвинулся, когда я сел рассматривать доску.

— Мы однополчане, видать, — раздалось у меня над ухом негромко. Я обернулся.

— В смысле, что я тоже еврей, — сказал мне улыбчивый шатен безо всяких вполне отчетливых признаков семита. И мы отошли поговорить. Сначала я вцепился в него мертвой хваткой, спрашивая об отношении к евреям. Он рассказал то же, что почувствовал уже и понял я сам. Не встречал он открытой неприязни или вражды ни разу, хотя все, и всюду, и всегда помнили, что он еврей. В основном, у всех была одна картина мира в этом смысле: евреи — некие страшные ловчилы, заведомо умные и заведомо хитрые, всюду умеющие проникать и устраиваться — в частности, в магазины и конторы всякие, но к каждому конкретному еврею неприязни на этой почве не было. Хоть и не упускали случая заметить порой, что совсем что-то не видно евреев среди шахтеров, каменщиков и прочих представителей тяжелого труда.

— Знаешь, я им на это что всегда отвечал? — победительно спросил меня собеседник, и на мгновение в нем про-

глянул-таки сорокалетний еврей, хвастающийся за субботним ужином. — Я их на это спрашивал: а среди конвойных, среди тюремных надзирателей и лагерной псарни — много ты встречал евреев? А среди ментов — много? То-то же!

Замечательным обладал талантом Эдик Огородников — он подделывал любые документы и умело пользовался ими сам. А сидел всего четыре раза, да притом и ненадолгу сидел. По два-три года. Тьфу. Но зато как просто и красиво зарабатывал он свои немалые деньги (никогда моя семья не нуждалась) в промежутках (и больших) между отсидками!

В маленький какой-нибудь городок приезжал капитан медицинской службы. Аккуратный, подтянутый, грамотный, донельзя общительный и со средствами. Даже танцами он не брезговал, до того был моложав и крепок, и знакомых угощал, не скупясь, в заведении любом, что подворачивалось. Жил в гостинице, ибо приехал отдохнуть. Потаскушками явно пренебрегал. Не скрывая, что совсем не прочь постоянную завести себе подругу. Чтоб она душой и телом разделила его скитальческую жизнь, связанную с длительными поездками, носящими секретный характер. И желающие быстро находились. Прямо-таки совсем быстро, но капитан не спешил с объятиями, а наоборот — старомодно и изысканно знакомился сначала с родителями. Оказывались ими обычно люди весьма состоятельные или по роду занятий, где много крали, или по должности, где им носили сами. Родителям капитан нравился безусловно, а своей благопристойной неспешностью — изумлял. До свадьбы дело доходило быстро (отпуск у меня больше двух месяцев никогда не бывал — разве в армии бывают больше?), а порою — и не доходило, ибо рано или поздно прибывало к капитану ожидавшееся им срочное направление на полгода в наш военный гарнизон в Восточной Германии. А к тому времени столько наслышаны были новые родные и близкие о баснословной дешевизне в Германии ковров, мохера и даже мехов сибирских (с целью пропаганды почти бесплатно продававшихся там), что все начинали нести капитану деньги. Делая это большей частью тайно — зачем разглашать стремление жить красиво? И, провожаемый слезами и напутствиями, Эдик отбывал, чтоб не вернуться. В случаях, когда он сидел, вылавливали его по приметам, сообщенным безутешными родственниками чуть ли не год спустя. (Даже фельетон обо мне был — "Урок невестам".)

Чутко уловив, что мне в этом методе стало жаль доверчивых юных дур, Эдик рассказал о втором своем амплуа, чистом

иа этот раз, как детская слеза.

В процветающий совхоз приезжал внезапио корреспондеит столичиого сатирического журиала "Крокодил". Да не просто приезжал иа автобусе, а иа "Волге" ближайшего райкома партии, ибо имеино оттуда всякий раз начииал, соблюдая субордииацию, предъявив мандат-командировку и уже вызнав кое-что там вверху, ибо приехал по сигналу, что ие все в районе благополучио. И дня три-четыре исправиейшим образом занимался совхозиыми делами. Радостио и готовио ему нашептывали доброхоты и добровольцы (обычио тишком, оглядываясь), иа что обратить внимание. А так как безбожно воровали всюду, а у Эдика даже образование кой-какое специальное было (три курса сельскохозяйствениого иистнтута, выгнали за подделку экзамеиациоиных кинжек сразу пятерым приятелям), то материал накапливался очень быстро. На хороший и большой фельетои. И ие пряча того, что вызиал, даже сожалея и сочувствуя, рассказывал обо всем журиалист руководителям этого совхоза. И иепременно был приглашаем иа прощальный ужин. Проходивший по-разиому, ио с одинаковым концом: с глазу на глаз вручался приезжему конверт с деньгами. (И заметь, всегда одна и та же сумма — пять тысяч. Ни больше, ни меньше. Один раз дали три, а в машину стали ящики со жратвой совать. Я таким тоиом отказался, что директор меня зазвал в свой кабииет и дал еще коиверт. Там было точио еще две.) И довольиы очень были все, между прочим, потому что фельетои ведь так и ие появлялся! И если бы не женолюбие Эдика, ие стремлеиие его покорять трепещущие сердца и млеющую плоть, вообще бы ои, возможио, ие сидел.

Очень здорово мы с ним поговорили. О жеие его — оиа преподавала в школе и преданно его ожидала. И прощала все приключеиия, очень только боясь, что ои вправду кого-нибудь полюбит. А измеиами это все ие считала — просто работа. Даже после фельетона ухитрился Эдик ей внушить, что в газете все правда, кроме того, что был медовый месяц. И о детях поговорили, и обменяться успели адресами. И расстались часа через четыре, ибо камеры иам вышли — различиые.

А потом еще я видел его в вагоие — иас везли по общему этапу. Только там уже и словом ие перекинулись, а в вагоне случившийся с Эдиком эпизод сильио меня к нему охладил. Я всего ие видел, ио из ругани и смеха коивойиых мне легко было поиять случившееся. Когда мы только тронулись, Эдик жестом подозвал коивойного (тот потом еще иачальиика вы-

звал), поднял рубашку и показал рубец от вырезаниой язвы или аппендицита. Рубец этот ои, очевидно, натер чем-то и объясиил жестами глухонемого, что ему операцию делали и что очень плохо себя чувствует. И его из душиой тесиоты битком иабнтой клеткн перевели в крайнее купе-половинку, там обычио ннкто не ехал, оставляли его для жеищии, если были такие иа этапе, илн для больных. Там всего две полки были сбоку, и при самой тяжкой загрузке больше шестн-семи человек туда ие всовывали. Там ои и проехал двое суток с удобствами, а когда ссадилн его на станции, куда следовал его этап (где-то иа подъезде к Уралу, уже за Волгой далеко), то глухоиемой пассажир обериулся и коивойиым что-то крикиул благодарствеиное: мол, спасибо, хорошо довезлн. Это они оживлеиио обсуждали, матерясь; ио забавно, что не озлобились после этого, а наоборот, и открыли со своей стороны окиа, ранее в наказаиие нам закрытые. Только мие это ие поиравилось тогда. Почему, я не берусь объясиить. Я тогда был так иастроеи романтически, что считал ие очеиь достойиым облегчать себе жизиь такнми хитростями. Зоиа доказала мие, что я иеправ, каждый пользуется, чем сумеет, ио свое миеине я ие изменил.

ГЛАВА 5

Всю жнзнь меня безмерно удивлялн — встречаясь мне то н дело — разного рода совпадения. В нзумленнн останавливался я перед нимн, всегда мне казалось, что чрезвычайно глубока на самом деле тайная неведомая связь, вызвавшая этн совпадення. Онн звучалн для меня то как прнтча, то нтрнгующе, то смешно — я сейчас поясню, что я называю совпадением, нначе не будет понятна самая основа моего нтереса к ним. Так, например, ведущнй органнзатор убнйства шестн миллнонов евреев — одинаковую (почтн) носил фамилню с начальником нашего первого лагеря смертн на Соловецких островах. Эйхман н Эйхманс. Однн — чнновник очень высоких, вероятно, способностей, усердня н знаннй, выучил древнееврейскнй даже, так основательно н с полной отдачей относился к своему делу. Он просто честно служил, как он оправдывался потом, то есть полностью был орудием служебного долга, что сполна, по его мненню, охраняло н чувство честн, н его лнчную невнновность. Да наверно, а скорей — наверняка он н сам разделял мысль о необходимостн н некой высшей пользе своей акцнн. А второй — недоучившнйся латышскнй студент, какнх тысячн рннулнсь в революцию служнть идее светлой н высокой — равенству, свободе, братству. Путь к ее воцаренню н торжеству лежал через массовую кровь — это ннчуть не останавливало нх, даже н задуматься не заставляло. Этих двух объединяет многое, н совпаденне нх имен (пусть неполное) завораживало меня до того, что мнстнческая виделась за этим связь. Нет, я не объясню толком — почему, но, может быть, само сознанне наше склонно придавать повышенную значнмость совпаденням? Не случайно так много подчеркивающих, подмигнвающнх, наталкнвающих совпаденнй имен, слов, значеннй, чнсел н дат вылавливалн самые разные авторы кннг духовных, книг по алхнмнн, астрологнн, книг, аналнзнрующих мнр н его устройство. В этнх кннгах нстолковываются совпадения дат, имен н названнй, вторых н третьнх значеннй слова, пере-

воды слова на другие языки, совпадения звучаний, связь и незримая гармония событий — значит, совсем не одного меня волнуют и волновали такие вещи — совершенно случайные на первый взгляд. И разнообразие их неисчислимо. Моего лагерного приятеля, молодого уголовника Самоху как-то в течение нескольких часов (сделали перерыв на обед, спустив его на это время в изолятор) били по голове томом "Капитала", выколачивая признание, кто занес в барак бутылку водки. Почему, когда оперативник пошел в библиотеку за орудием дознания, он из множества толстых книг выбрал именно том духовного отца всего того, что у нас случилось? Почему не взял он справочник по ремонту тракторов или прейскурант строительных работ — ведь они там стояли в изобилии? Не знаю. Совпадения такие — сами просят об истолковании их. Чего стоит, например, традиция, что в Загорской тюрьме били нас не в камерах и не в коридорах и не заводили в кабинеты, хоть их там было предостаточно, — нет; били только в ленинской комнате — так повсюду в воинских и милицейских частях именуется красный уголок, где лежат на столе газеты, висят бумажные портреты сменных вождей и непременный маслом — Ильича, чтобы в достойном окружении повышать свой идейный уровень при помощи прессы. Руки заставляли поднимать и запястья захлестывали наручниками через высокую трубу парового отопления, а потом уж били кулаками, ремнями и дубинками (кусок резинового шланга с песком) по удобно вздернутому телу. Со стены молчаливо смотрел на нас основатель, духом которого, как известно, живет и движется трудящееся человечество. Нет, не в силах я ввести неисчислимое множество совпадений в русло классификации, хоть и знаю, что наука как-то упорядочила их. Просто каждое из них — повод для ассоциаций, аналогий, толкований, просто каждое — спусковой курок для прихотливых механизмов памяти — оттого, очевидно, что тревожат, оживляют и возбуждают они наш разум. То смешные: двух врачей-сексологов я знал когда-то, принимали они даже по очереди в одном кабинете, а фамилии их были — Феноменов и Оконечников. Или я читал работы двух психологов, занимавшихся пропагандой, по фамилии — Ядов и Здравомыслов. То бывали совпадения серьезные настолько, что хотелось поиграть с ними как можно дольше, ибо явно что-то таилось в них и волновало загадкой. Так узнал я однажды (и поражен был) о цифрах, которыми занимался Хлебников, сопоставляя исторические события. Будто он это открыл и обна-

ружил (ио иа самом деле не мог, ибо умер намиого раньше) — как существеииа для России в иашем веке периодика в 12 лет. Судите сами: в 1905 году — первая революция, ровио через двенадцать лет — вторая, а еще через двеиадцать лет — уничтожеиие кулачества как класса, гибель миллиоиов тех, кто в крови иосил любовь к земле и умение с ней ладить. Дальше сразу — сорок первый год. О Войие чего уж и говорить. Далее — пятьдесят третий, смерть Сталииа, переломиая гигантская веха. Что же в шестьдесят пятом? Ничего? Неправда ли, ты уже мыслеино ищешь, читатель, непременно происшедшее событие? И оио было, разумеется. Чуть иазад — месяца три ведь ие играют роли. Скинули, извергли, выгнали из Кремля человека, восхваляемого одними, проклииаемого другими, лысого энергичиого толстяка, посмешище. Только ведь правду о Сталиие, переверииувшую массовое сознание (на короткое время, увы), правду об убийце и злодее, черном геиии нашего века — имеиио ои, Хрущев, осмелился сказать вслух. Странный он был и разнообразный в своих метаниях и поисках человек, только ведь искал и метался — ои единственный, за что и был сперва проглочеи, а потом извергнут болотом. Никитушка — дурачок, кукурузник, болтун несусветиый, враль и хвастуи. Помиите, к примеру, это: "Партия торжествеиио провозглашает, что ныиешиее поколение советских людей будет жить при коммунизме"? Вот оио уже и старится, ныиешнее, многие умирать уже принялись. А обещанное? Торжествеиио провозглашениое партией? Да и что это такое, коммунизм, даже это ие ясио до сих пор. О социализме с человеческим лицом все мечтают. Или хотя бы с человекообразным. А везде висело оио тогда, обещание это, и мозолило иаши ко всему привычные, давно равиодушные глаза. А чего стоит его обещание повесить иа дверях последней тюрьмы золотой замок и пожать руку последнему преступиику? Чушь какая-то собачья, прости Господи. Но едииствеиный ои был, однако, кто задумывался и искал. Как умел. Оттого и был обречеи. Он покой нарушал, спокойствие, а густая болотиая вода долго колебаний ие терпит. Умер ои, хлебнувши вдоволь униженияи и поиошеиий. В меру его оцеият разве что иаши правиуки, ибо снятие его — значимая и глубокая веха. Впрочем, я так отвлекся, что еще раз в связи с иим отвлекусь, очень уж тут забавное сбоку совпадение проступило.

К уже иабившей иам оскомину бывшей крылатой фразе "коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей стра-

ны" — Хрущев, увлекшись стройками большой химии, добавил: "плюс химизация". И при нем стали выпускать заключенных досрочно, чтобы работали они на стройках этой химии, отсюда и название таких условно освобожденных: химики. Много я их здесь насмотрелся и наслушался (ибо за прогулы или пьянку возвращают нещадно в лагеря), и слова "плюс химизация" в совершенно ином ракурсе осветили мне давнюю мечту наших вождей, по случайности (совпадению?) так точно поименованную Никитой как необходимое для коммунизма средство.

Если у нас сейчас, даже по казенным данным, сидит около миллиона человек (во времена Олимпиады было втрое, очевидно, больше), то это значит, что сотни тысяч химиков трудятся сейчас на множестве строек страны, в самый трудный период каждой стройки — при закладках нулевого цикла, на земляных и бетонных работах. Это армия рабов в полном и точном смысле слова. Они прикреплены до окончания срока к месту, куда их привезли, без права перехода на другую работу. Они живут в специальных общежитиях, откуда выход — только на работу, а после нее — отпустит за продуктами (или не отпустит) дежурный надзиратель (прямо при каждом общежитии — специальное отделение милиции). Самые тяжелые, самые невыгодные материально работы — химикам, ибо вольные уходят с таких. До сих пор (не то чтобы законно, но всем известно) практикуются телесные наказания (дежурные бьют их в своих дежурках — за выпивку, за уход без спроса из общежития, просто, наконец, за то, что "показал зубы", как принято здесь говорить). В отпуск при безупречности поведения можно съездить домой — по специальному удостоверению, без которого милиция вернет обратно по этапу. Главное же — труд, труд и труд. Любой, какой нужен производству, независимо от твоей профессии. Рабство временное, но полное. Очень удобное для строек любых мастей. И в любой момент из лагерей привозится любое новое количество взамен освободившихся или возвращенных на зону. И они счастливы, химики, ибо в самом деле эта иллюзорная свобода (тратить зарплату самому на вольно покупаемый харч, украдкой выпить, найти женщину) — явное улучшение жизни. Разве не мечта — армия таких работников? И незримая здесь вьется ниточка от военных поселений Аракчеева, через несбывшуюся голубую мечту Троцкого о трудовых армиях (точный прообраз сегодняшних химиков) — к высказанной теперь Хрущевым (хоть и неосознанно, через совпадение) мечте о "химизации" всей страны. А

ведь если чуть добавить законов, ограничивающих возможность уйти с работы на другую, чуть потуже затянуть петлю дисциплинарных взысканий — и мечта обернется явью.

Но вернемся, я забрался слишком далеко в эту близкую и заманчивую утопию.

Отсчитаем еще двенадцать лет. Семьдесят седьмой, вокруг него. Значимого явно здесь ничего нет. Что же, периодика сорвалась? Ведь история свое течение не остановила (хоть и кажется иногда, оглядываясь вокруг, что замедлилось, если не стало вовсе течение жизни). По инерции непременной событийности каждого двенадцатого года лихорадочно начинаешь думать, споткнувшись. Сразу спешу сознаться, что ничего приметного я найти не сумел. И друзья, которых спрашивал, не нашли. А ведь что-то было, наверно. И одна только есть у меня мысль, подтвердить ее лишь будущее сможет, а почерпнута она — из прошедшего, если от революции 1905 года двинуться вспять в минувший век (где она, вроде, отсутствует, периодика эта, ио однако...). Если отсчитать назад сразу двадцать четыре года — выплывает событие яркое в достаточиой степени: убийство царя Александра Второго, путы крепостного рабства сбросившего с России, так что было ие простое цареубийство. А двенадцать лет спустя (мы это теперь лишь можем оценить) — неприметно тогда ни для кого перебрался из Самары в Петербург никому в ту пору не известный молодой Владимир Ульянов. Вот о чем-то подобном я и думаю, когда гадаю о пробеле в периодике.

Но, однако, далеко же я отвлекся, заиимаясь лишь одним из совпадеиий. Правда, крупным — некой гармонией тайиой, гармоиией, определяющей взрывы хаоса. А еще ведь совпадеиий — тьма, и калибров невообразимо различных. Я выискиваю их всегда, замечаю, обыгрываю при случае. Убеждал приятелей, что основа прочности семьи — совпадение, существующее в моей: год рождения моей жены — это размер моей обуви, и наоборот: размер ее туфель — мой год рождения. Смеялись. Но ловил я в глазах смеявшихся отсвет чувства, всегда тревожащего меня: вдруг и вправду что-то есть за совпадением? Таял промельк этот, снова смех — уже смешок скорее над собой, что на миг поверил и задумался — и опять смыкался привычный, ко всему равнодушный скепсис, скорлупа, в которой так удобно жить. Вот еще, кстати, одно воздействие совпадений: на мгновение они протыкают уютный и непрозрачный купол реальности, и в прокол этот льется воздух той зага-

дочности, коей сверху донизу переполиено иаше мироздание. Оттого так ценят совпадеиия н игру с иими именно мистики всех мастей. Только разве не загадочио и впрямь (или Бог так ироиичеи и иасмешлив?), что именио деиьги дниамнтиого изобретателя Нобеля служат премиямн тем, кто более других сделал для духовного еднннеиня человечества? Илн что именно Сахаров, создатель водородиой бомбы, вручивший ее в самые безответственные в мнре рукн, стал снмволом пробуднвшейся россннской совести? Меня такне совпадення — завораживают н волнуют безмерио. Очеиь в иих иепростая загадка.

Только почему я затеял об этом нменно сегодня, в деиь холодный, сиежный, ветреиый и грязный, в деиь типичио осеннезимиий, когда хлюпает под иогамн, облепляет, продувает насквозь реальиость? Ни о чем больше думать не дающая, кроме как о близких морозах, очень тяжких при одежде нашей н еде, вкупе со всеми вместе прелестями зоиы. Если начну доискнваться, почему стал думать о совпадеиях, разум мой услужливо и иемедля что-ибудь подсуиет иепремеиио — просто, чтобы объясиить, успокоив тем самым душу. И уже подсунул, однако. И иастолько правдоподобиый вариант, что похоже — именно поэтому я и стал вспомниать о совпадеиях. Или это в самом деле была зиачимая и весомая случайность, то есть случай, отрабатывая службу, что возложеиа иа иего поговоркой, в самом деле сам пошел иавстречу тому, кто его искал.

Я весь день сегодня думал о Боге. Думал коротко, обрывочно, по-лагериому. Длииных мыслей вообще здесь не бывает, куцые успевают лишь мелькнуть, пока что-нибудь не отвлекает виимания, потому что ты все время начеку. То охраннк, то начальство, то зиакомые, кого лучше обойти, — иадо видеть зону все время. Говорят, бывалые зеки с полиой точностью зиают все, что происходит за их спиной. Оттого все мысли коротки и коикретны и к сегодняшиему, миого — завтрашиему дню обращены. А увлекся, иичего ие стоит залететь, как тут говорнтся, в иепонятное. За бараком в этом смысле свободнее — если нет каких-нибудь разборок, толковищ, драки.

Но о Боге я ие сразу иачал думать. Почему-то сперва всплывали случаи, — словио память себя листала, — когда люди некие вдруг ударялись в истовую веру. Я таких историй слышал много, впечатлялн онн изрядно, а что былн правдивыми — я не поручусь. Мие рассказывал один приятель, глубоко сейчас верующий пожилой человек, как сидел ои в послевоеиином лагере, где работал при санчасти саиитаром. Это были

как раз годы, когда насмерть схватывались всюду в лагерях воры в законе и суки, то есть воры бывшие, решившие завязать, начавшие работать, пошедшие на контакты с властями. Лагерное начальство, исполняя инструкции, всюду стравливало их, чтобы сбылась чья-то идиотская мысль, что преступный мир сам себя постепенно уничтожит. Загоняли, к примеру, целый воровской этап на сучью зону, и за неделю, если не быстрей, от вновь прибывших никого в живых не оставалось. Или наоборот, соответственно. Мужики, судя по рассказам, хоть и старались не участвовать, но часто держали сторону воров в законе — здесь на зоне я даже понял почему. Работать суки все-таки не хотели, отчего охотно шли в надсмотрщики, надзиратели, погонялы, а жестокость, вообще присущая таким людям, здесь удваивалась от полной безнаказанности и желания выслужиться, раз уже вступил на эту дорогу. У воров свято соблюдался кодекс того, что можно и нельзя в отношении мужика, иначе общий сходняк или пахан могли сурово осудить зарвавшегося, а у сук была полная свобода произвола. Так, собственно, и ведут себя блатные в сегодняшних лагерях. Но вернусь к приятелю. Однажды после кромешной ночи обоюдной резни, когда в его санчасть уже столько раненых принесли, что всю ночь не смыкали врачи и санитары глаз, вышел он на крыльцо в халате, залитом кровью, чтобы свежего воздуха глотнуть перед тем, как работать дальше. Постоял на крыльце немного, подышал морозом и снегом, утреннее солнце уже всходило, тусклое, но пробившее темноту, и внезапно, словно это вдохнул, ощутил он присутствие в мире Бога. Ясное и непреложное. Это чувство так и не покинуло его с тех пор. И когда я завидовал его выдержке, его твердости или его спокойствию, то вспоминал я и о том, как теплится в нем ясная вера, и завидовал уже ей как источнику этих завидных черт. Или вот рассказывали мне об одном астрономе, ныне очень известном, здравствующем, кажется, поныне — кстати, и сидел он где-то в этих же краях. Его взяли в конце тридцатых, а возможно — и сороковых, уже не помню, по какому делу, среди шедших в лагеря миллионов это вряд ли было важно тогда. А в тюрьме, пока бились с ним, вымогая признание, тосковал он более всего о прервавшейся своей работе над одной гипотезой, за которую бы жизнь отдать не жалко, только бы доказательством оснастить (так Кибальчич, должно быть, в вечер перед казнью вдруг счастливым и спокойным себя почувствовал, передав адвокату схему реактивного двигателя —

главное, как он считал, цельное и неоспоримое дело своей жизни). А для убедительной оснастки этой гипотезы астроному позарез нужен был какой-то справочный атлас, где расчислены движения небесных тел, так что не надо было отвлекаться на долгую математику. Но об атласе нечего было и думать, он остался дома среди множества других привычных и подручных книг. А в тюрьме им, между прочим, давали книги, меняя их раз в десять дней. Подъезжала тележка к окошку в двери камеры — к кормушке, и зек-библиотекарь (или вольный у них был, не знаю) давал подходившему, не глядя, очередную из груды набросанных на тележку книг. Ну, я не буду нагнетать мистическую напряженность и загадочность, вряд ли астроном этот волновался заранее от предчувствия чего-то невероятного, вряд ли. До него оставались только двое, потому он обратил внимание на полученные ими книги. Одному дали том стихов Демьяна Бедного, второму — Калинина "О коммунистическом воспитании", а ему библиотекарь так же безучастно протянул его собственный атлас, о котором он вожделенно мечтал. Если этой истории повернуть (она дошла до меня не из первых рук), то существенно ее продолжение — астроном говорил с тех пор о Боге совершенно иначе, чем прежде.

Вспоминал я и другие истории, все с одним и тем же концом. Думал о сложных собственных непонятностях. Я давно уже понимал (или чувствовал, утверждать не берусь), что есть нечто, организующее жизнь, только что оно собой представляет, это нечто и следует ли писать его с большой буквы, наделяя даже какими-то чертами, — этого я решить не мог, а дыхание, несущее веру, не коснулось еще меня ни разу, а придумать здесь нельзя ничего, разуму не достичь того, что дается чувству. (Вспомнил еще вдруг некстати — или кстати? — как Бездельник хвалился своей идеей все поставить в этой области на свои места, к знаменитой ленинской фразе добавив лишь одно слово, она тогда даже в эпиграф журналу "Наука и религия" пошла бы. Вот как она тогда звучала бы: "Материя есть объективная реальность, данная нам Богом в ощущении". И все дела. Засранец ты, Бездельник, тебе все просто, а я тут ходи и мучайся.) Думал я главным образом о том, насколько легче жить на зоне верующим. Потому хотя бы легче намного, что можно думать, что Бог посылает им лагерные тяготы не в одно лишь наказание, но затем еще, чтоб выявить их причастность к избранным и отмеченным, чтобы свое внимание к ним осветить этой жестокой пробой. Утешитель-

ная очень концепция, и бодрящая, как книга Иова, надо только малую малость — в нее поверить, но этого-то мне и не хватало.

А уже перед вечерней проверкой мне попался вдруг навстречу парнишка, что сидел здесь за отказ служить в армии, — был он из семьи пятидесятников, кажется, или баптистов, и сидело за отказ брать оружие в руки много таких, как он. Положение же Саши Ващенко усугублялось еще тем, что уже год тому назад его отец и мать прорвались — причем буквально, ибо пробежали сквозь охрану — в американское посольство в Москве, попросили убежища и жили теперь там, дожидаясь своих детей. Нарожали они их — одиннадцать или двенадцать и всех воспитали верующими. Дети ждали выхода Саши из лагеря, он здесь был уже последние месяцы, отбывая присужденные три года от звонка до звонка. К нему ездили уже какие-то гонцы, уговаривая не ехать с отцом и матерью и то суля всякие жизненные блага, то неприкрыто угрожая. Саша держался очень настороженно, и я давно его ни о чем не расспрашивал, натолкнувшись однажды на уклончивость и нежелание отвечать. Но сейчас он сам подошел ко мне.

— А ты знаешь, — сказал он, сильно пожимая мне руку, — слышал, что на зоне есть сейчас мужик из общины евангельских христиан? Хочешь познакомиться? Мужик что надо.

— Почему именно сегодня здесь возник этот человек? — подумал я. — Интересно, давно ли он на зоне?

— Уже недели три, — сказал Саша. — Он работает автослесарем, приведу его после вечерней проверки. Прямо вот сюда, к бараку. Ладно? Вам будет обоим интересно.

Падал снег, частично тая где-то в воздухе, отчего казалось, что это одновременно снег и дождь. Тянул холодный осенний ветер — хиус. Очень было неуютно возле барака. Всюду сновали зеки, разбегаясь после проверки по своим нехитрым делам; я стоял, и слякотный воздух пронизывал меня насквозь, хотя зима еще только начиналась. И знакомое возбуждение слегка трясло меня: к чему оно, сегодняшнее совпадение? Как я думал именно сегодня о человеке, могущем подарить мне веру! Так о деде-Морозе неотступно мечтают дети, когда подходит время смены года. Но уже мне столько лет, глупо надеяться на чьи-то подарки. Уж о том не говоря, что в сущности я не веры хотел как таковой, а той стойкости, которую она дает, — мне, во всяком случае, так казалось. Стало много тяжелей с холодами.

Он возник из темноты и снега, круглолицый, чуть моложе моих лет, оживленный, очень явно расположенный к разговору. Теплая рука, приветливо крепкое рукопожатие. Почему-то я спросил его сразу, по какой он сидит статье.

— Все по той же, — улыбчиво ответил он, — сто девяностая, голубушка. Распространял, значит, заведомо клеветнические измышления и порочил наш общественный строй.

— А распространяли? — спросил я, тоже улыбаясь ему, очень он мне сразу приглянулся.

— Да какой там, — он махнул рукой, — я молился, как все наши прихожане, и, как все, подписывал жалобы, что молиться нам спокойно не дают. Ну и повязали, как видите. Следователь мне говорит: признаете ли вы, что утверждали, будто у нас за веру сажают? Да когда же это я утверждал? Есть свидетели, что утверждали. Так ведь видите, я здесь за веру. Не за веру, а за то, что утверждал. Ну, три года, словом, дали. Круг-то замкнутый. Посижу, меня не убудет.

Я невольно рассмеялся его словам, так спокойно он рассказывал все это, и лицо его было оживленным и безмятежным. Мне никаких вопросов он задавать не собирался. Мне, во всяком случае, так показалось, ибо он выжидающе смотрел на меня и молчал, чуть улыбаясь. Я достал табак и с трудом раскурил на ветру трубку. Много раз я натыкался здесь на необъяснимое обстоятельство: нам на зоне было не о чем говорить друг с другом. И какие бы люди не попадались, очень быстро иссякал к ним интерес — человек здесь склонен более всего говорить о себе и о касающемся себя, и любая отвлеченная беседа угасала после нескольких фраз. Я по многим замечал уже это, потому так и ценил собеседников, что гуляли со мной вокруг барака. Вот они разговорили бы его, подумал я. Куда они сразу делись, когды нужны?

— Я о вас-то в общем знаю уже, — сказал мне этот новый знакомец (тоже Саша, а тот Саша, что привел его, он молчал — мы в отцы ему годились оба, он чего-нибудь, наверно, ждал от нашего знакомства, ибо явно был застенчиво любопытен). — И хотел я, повстречав вас, спросить: вы-то лично как относитесь к слову Божьему?

Странно я, должно быть, посмотрел на него в ответ. Очень уж это продолжало мои мысли сегодняшнего дня. Он же, истолковав мой взгляд по-своему, торопливо добавил:

— Не хотите если говорить, не надо. Просто я подумал, что, быть может, слово Божье вам полезно будет, нужно ду-

шевно? И не только на сейчас полезно. Ведь пора уже о будущей своей жизни думать, как вы после смерти располагаете судьбой душн вашей. Вы о Боге много думаете? А читать Евангелие не доводилось?

Чтобы сразу два вопроса закрыть, я ответил ему цитатой, насколько помнил ее сейчас:

— Верую, Господи, помоги моему неверию.

Он обрадованно и энергично заговорил. Он, по-моему, соскучился очень по привычному монологу. Это не передать дословно, да и не к чему пытаться. Нет, не из-за сути его слов, отнюдь нет, просто все это я читал уже много раз и слышал. О Христе и милосердии Божьем, об искуплении грехов человеческих и спасении души нашей, о великой благости веры, о вручении себя Провидению, о неисповедимости путей Господних, по которым Он ведет нас в этой жизни, о Его неустанной и требовательной к нам любви.

А чего я, собственно, ожидал? Откровения, ниспосланного свыше? Он стоял передо мной, мой ровесник, и привычно говорил мне все то же, что привык он и любил говорить, ибо сам, очевидно, веровал искренне, глубоко и неколебимо. И его держала эта вера и незримо сейчас за ним стояла. А за мной стояла школа, институт, десятки книг, меня не научивших ничему тому, что освещает жизнь до полной ясности. И сейчас уж не ему было свернуть меня с дороги, на которой все невнятно и запутано. Он, как видно, почувствовал это очень быстро.

— Все, что я знаю, — сказал он вдруг поскучневшим голосом, — это из Евангелия, прочитанного мной много раз со вниманием и любовью. Вы ведь тоже, как я понял, читали, лучших книг нет и не было на свете. И на все вопросы даются ответы, согласитесь.

Но не всем, подумал я, промолчав. Потому что сама ситуация сейчас больше занимала меня, и смотрел я на нас со стороны: три продрогших скрюченных зека тесно сжались у стены барака и о чем-то говорят очень тихо, а вокруг снуют другие такие же, половина из них стучит, а мы трое говорим о Боге, и есть что-то нереальное в этом, книжное.

— Вас мирская суета развлекает, — сказал Саша неосудительно, — и в ней все мысли ваши. Вы подумайте, а я пойду, пора мне, отбой уже вот-вот. Приходите, если слово Божье вам понадобится.

— А если просто так посидеть? — спросил я.

— Это незачем, — сказал Саша мягко. — Устаю я очень за день, честно скажу вам, да и не о чем нам, наверно, говорить. Вы человек ученый, у меня вам узнавать нечего. А задумаетесь, приходите.

Настоящий пастырь, подумал я, пожимая ему руку. Профессионал. И не нашел никаких в себе слов, чтобы объяснить ему, что просто поговорить тоже здесь бывает жизненно необходимо. Потому что не был уверен, что ему это бывает нужно. Он одним был единственным озарен. Что ж, удачи тебе, счастливый человек.

— Самый явный посланник Божий, — говорил мне отыскавшийся Бездельник. — Правду говорю тебе и всерьез. Он благую весть принес. Ты просто очень вульгарно истолковал себе его появление. Что он тебя — вмиг обратить в истовую веру, что ли, мог — тебя, скептика от ушей до пяток? Он совсем о другом тебе рассказал своим появлением и своими пустыми для тебя словами. Ты так и не понял, что к чему?

— Честное слово, нет, — сказал я ему чуть рассеянно.

— Эх ты, философ, — сказал Бездельник добродушно. — Перипатетик. Помнишь, были такие — гуляющие в садах? Что, если нам объединиться в гуляющих вокруг барака?

— Говори, засранец, — разозлился я, — настроение и без тебя пакостное.

— Это зря, — сказал Бездельник бодро. — Ему, дураку, явление было, благая весть, а он куксится, неблагодарный. Что тебе должна была сказать эта встреча? Неуслышанное тобой — что? Очень важное: что на Бога тебе надеяться нечего. Что один ты здесь, и с бедами своими всеми один на один. Ты ведь о Боге сегодня как думал днем, признайся? Когда верующим завидовал, что им легче? Ты о Боге, сукин сын, думал как о санчасти. Пожалеет тебя, дескать, добрый доктор, снизойдет и выдаст бюллетень. Отдохнуть душой и телом, подлечить расстроенное здоровьишко и опять с прежней наглостью судить обо всем на свете. А тебе незамедлительно ответ: не надейся, голубчик, приема нет, санчасть наша не для таких, как ты, а для таких, которые от слов бы этого озаренного автослесаря плакали и таяли душой, аки воск. А вам ничего мы дать не можем, исцеляйтесь и спасайтесь сами, ибо ваше спасение — в вас самих. Врубился?

— Ну и сволочь ты, Бездельник, — искренне сказал я, потому что здорово мне стало легче от его безжалостной идеи. Хорошо я вдруг почувствовал себя. Человеком. Лично-

стью. Мужиком. В самом деле, разве это настоящее все — эта мерзость и эти трудности? Да плевать я на них хотел. У меня же жизнь впереди. И какая, Господи, жизнь! Вот опять помянул я Твое Имя. Неужели это правда мне знамение, а не просто случай? Или знаменательный случай? Или случайное знамение? Нет, я еще не кончился и не прогнулся. Жив. А значит — выдержу. Пустяки остались. Пятьдесят месяцев всего. Четыре пасхи.

* * *

А Деляга очень боится зимы. Дело в том, говорит он, с удовольствием вспоминая то время, дело в том, что однажды мы совершили трудовой подвиг. Он закончил институт инженеров транспорта и поехал в Башкирию за романтикой. А тогда еще было всюду идиотское уважение к дипломам — то ли мало было их в конце пятидесятых годов, то ли просто очередная кампания выдувала свои временные пузыри, но Делягу сразу стали ставить на какую-то начальскую должность. Заменяя им живого человека, давно на этом месте работавшего и все досконально знавшего, но не успевшего обзавестись бумажкой, что образован. Оттеснять такого человека молодой Деляга категорически отказался, и его в наказание за строптивость, всех удивившую, послали ездить, чтоб одумался, помощником машиниста электровоза. А была как раз осень, шел хлеб, и Деляга всего месяца за три наездил те десять тысяч километров, что позволяли ему сдать экзамен на права машиниста. Он смотался в город, сдал экзамен, и уже его ничем было не сманить, так понравилось. Он рассказывал нам, как врывается в окно тугой и плотный ночной воздух, как сливаешься всем собой с громыхающим телом тяжелого состава, начиная ощущать себя воедино с ним и поэтому невыразимо прекрасно, как безвольно клонится голова часам к пяти утра, если едешь с самого вечера, как ночуют машинисты и помощники в пунктах оборота, где берут обратный состав, и какая у них усталость при этом. И про вызовы в поездку внезапные, когда кто-нибудь заболел или запил, и тебя разыскивают, где бы ни был, и плетешься, ругаясь, что нету жизни, но влезаешь в кабину электровоза, подаешь его под состав, и все тело наливается скоростью и могучестью нарастающего движения. И настолько ощущаешь дорогу, что после крутого подъ-

ема чуть не пот со лба льется, будто сам втаскивал состав, помогая буксующему электровозу. На одном из таких подъемов, тормознув у светофора свой состав и постояв, они однажды застряли намертво — заклинило тормозную колодку. Делом двух-трех минут была смена этой чугунной болванки, и Деляга обернулся к помощнику. На дворе стоял январский мороз за сорок и еще крепчайший ветер задувал, об этом вмиг вспомнил Деляга, увидев собачьи глаза помощника, снятого за пьянство бывшего машиниста, знавшего давно уже, что это такое — повозиться на морозе с металлом.

— Ну сиди, я сам сменю, — сказал Деляга бодро. Он об этом знал гораздо меньше и спокойно выпрыгнул на шпалы. Ветер прохватил его сразу, а мороз он уже скоро не чувствовал, ибо ровное наступило тяжкое отупение. Бился он минут сорок с наглухо прихваченной морозом чугунной болванкой, и никак не удавалось выбить ее крепление. Он лежал спиной поперек рельса, ощущая его мертвый твердый холод, но никак нельзя было спасовать, еще очень был он молодой. А когда все сделал и поднялся в кабину, то вообще уже ничего не чувствовал. Поезд дальше повел помощник, а Деляга часа два не мог оторваться от электрической печки. На спине у него еще долго сохранялся лиловый отпечаток рельса, руки были отморожены до локтей, а лицо так и осталось красноватым слегка, будто с утра он натирался кирпичом. И слабинка к холоду осталась — он мгновенно замерзал в любой одежде, словно лицо его впитывало холод. На еженедельном разборе происшествий главный инженер депо очень важно и торжественно сказал, что за проявленную трудовую решительность он снимает с Деляги выговор, полагающийся за часовую задержку скорого пассажирского, шедшего за ними по пятам. Больше Деляга подвигов не совершал. Вообще о своей тогдашней жизни он предпочитал рассказывать совершенно иные истории. Запоминались они легко, но я лучше запишу их сейчас, пока есть и время, и охота.

В общежитие на пятьдесят мужиков к ним попала работать истопницей огромная, немыслимо здоровенная баба лет тридцати. Запросто справлялась она с грудами угля, пожираемыми печью в котельной, а жила она в маленькой комнатке, куда многие безуспешно стучались. Но она была неприступна, эта женщина-гора с маленькой, почти безлобой головкой и живыми крохотными глазками над слегка искривленным — будто боксом занималась — курносым носом. Нет, отнюдь она не была

Венера, куда более красивых и моложе девок приволакивали ребята в общежитие, но уж очень она была под боком. Но себя, как говорится, соблюдала. И ужасно ей вдруг понравился Деляга. Хрупкий, молодой, необычный, очень вежливый, постоянно смеющийся (больно жить хорошо в двадцать два года) — она, должно быть, испытывала к нему чувства скорее материиские, согревательно-покровительственные, но не склонна была в этом разбираться. Словом, наделяла она при встречах Делягу самыми открытыми и изысканными знаками внимания — утробно хихикала, толкала чуть плечом и одаривала взглядом, казавшимся ей лукавым и кокетливым. И ребята, дело ясное, сказали Деляге, что дурак он будет, если не... Отчего же, сказал Деляга и купил две бутылки вина "Плодово-ягодное", называемого в разговоре — слезой Мичурина. Он был первым, кто попал к ней в каморку. Там стояла неширокая кровать, очень тщательно застеленная чем-то плюшевым, пустой стоял столик под клеенкой, табуретка — вот и весь интерьер. Впрочем, нет — его эстетическую и, похоже, главную часть составляли фотографии киноартистов, так любовно пришпиленные к стенке, что казались семьей, а не открытками. Выпили слезы Мичурина, что-то еле-еле сказали, обнялись и оказались на кровати. Раздевалась гора с такой сноровкой, что Деляга, если бы не знал ее неприступность, то наверняка бы счел ее давнишней профессионалкой. Он ее неробко обнял (опыт уже был, слава Богу), но она вдруг отстранилась от него и сказала с нежностью и чуть воркуя:

— Как я тебя давно зазвать хотела! Знаешь, иногда лежу и прямо вижу: ты вот так лежишь у стенки, и чего-то я тебе говорю, а ты смеешься. Слушай, я тебе хочу рассказать, я вчера в кино была, ты зря не ходишь, и смотрела про любовь с вот этим вот и вот этим.

И она, ткнув пальцем в двух киноскрасавцев на стене, стала обстоятельно и детально пересказывать Деляге фильм, так растрогавший ее вчера, что — поверишь? — я пришла и еще на смене плакала, прямо слезы лились на уголь, ворошу и плачу.

Раза два Деляга, мягко к ней приникая, пытался прервать повествование, но из чистой вежливости отступал. А когда не выдержал и, обняв ее, попытался прекратить поток, девастопиик шевельнулась досадливо и, сказав ласково: подожди, голуба, что ты нетерпеливый какой, — правой рукой отстранила слегка Делягу, очень нежно и ничуть не с укором. Но,

не умерив своей могутности, так ударила Делягу о стенку, что ему на миг показалось, что он просто размазался по ней. А дева, безо всяких усилий чуть придерживая его в расплющенном состоянии, продолжала ворковать про кино. О любви Деляга уже не думал. Извини, просипел он слабо, я забыл совсем, ко мне зайти должны.

— Ой, а я-то, дура, заболталась, — с искренним сокрушением сказала она. — Ты вернешься сейчас, да? Я жду.

Он и вправду хотел вернуться, когда боль под ребрами чуть прошла, но нечаянно с кем-то запил, а когда вечером постучался к ней, гордое молчание было ему ответом. И она его больше не приглашала.

— С тех пор, — сказал нам Деляга, — я любил только хрупких женщин.

Он рассказывал нам о жарких спорах между ценителями туалетной воды "Сирень" и такой же под названием "Ландыш". Обе они употреблялись отнюдь не наружно, ибо не было на них водочной наценки, отчего они стоили копейки. Считанные копейки за пузырь, где грамм двести чистого спирта! Спор о вкусовых и оглушающих достоинствах обеих туалетных вод мы бы тоже с радостью разрешили на опыте, ибо очень здесь хотелось выпить, хоть на час сбежав на свободу через горлышко бутылки. Мы вполне понимали блатных, тративших все свое время и хитроумие на попытки доставить в зону водку. Или одеколон. Пили здесь также ацетон, стеклоочиститель и разные растворители (умело выделяя выпивку из нитрокраски, например, — попадала она изредка на промзону по технической надобности). И спокойно уходили в изолятор на две недели за глоток спиртного. Повидав ацетонное опьянение, снова вспомнил Деляга о Башкирии, где однажды, опившись какой-то гадостью, обезумел один его приятель. Пили они в тот вечер на крыльце своего общежития, пили водку, а грузин-красавец Гога Кавтарадзе где-то за углом еще догнался чем-то мутным, изготовленным из клея БФ, со знакомым слесарем из депо. На крыльцо он вернулся возбужденный, и притом нехорошо, агрессивно, и в какой-то полутьме сознания находясь. Говорили что-то о бабах. А невдалеке от общежития на поросшем редкой травкой пустыре каждый день паслась чья-то одинокая коза, длинно привязанная ко вбитому в землю колышку. И внезапно Гогу озарило.

— Посмотрите, — вдруг вскричал он хрипло и вскочил, — посмотрите, чем болтать о бабах, как у нас в горах имеют коз!

Крича это, он стремительно раздевался, обнажая свое рослое мускулистое тело с чрезвычайным изобилием густых и курчавых вторичных половых признаков. И оставшись в чем рожала его мать, кинулся он к несчастной козе. Ошалев от страха, бедное животное вырвало свой колышек из земли и пустилось бежать, жалобно взблеивая на поворотах. Ибо животное, что поделать, не догадывалось юркнуть в проходы между бараками и заборами домишек, а бежало, как по заколдованному кругу, по квадратному пастбищу-пустырю. А за этой козой несчастной мчался, словно горный архар, голый и воспаленный Гога. Но уже на третьем или четвертом круге, забыв, кажется, зачем бежал, Гога обогнал козу, на нее не обратив даже внимания. И бежал, летел по пустырю, догоняя вторично свою жертву. А коза, увидев ясно, что спастись ей бегством не удастся, вдруг остановилась покорно, ожидая решения своей участи. А возможно, зацепилась веревка. На нее почти налетев, обалдело остановился и Гога. Но внезапно появилась хозяйка козы, обреченной на поругание. Речь ее была гневной и изумительно красноречивой. Никогда, сказал Деляга, никогда ранее или позднее он не слышал таких сочных монологов. Хотя суть была проста почти столь же, сколько замысел, не выполненный Гогой. Если ты, обезьяна бесстыжая, бушевала владелица козы, непременно должен всунуться кудато, так уж лучше ходи ко мне, подлец нерусский, потому что козу для тебя жалко, от нее молока почти пять литров детям вечером, волосня твоя поганая без понятия.

И пристыженный Гога протрезвел вдруг, только не настолько, очевидно, чтобы сообразить, что голый, и послушно подошел к этой женщине, и о чем-то они стали говорить. И коза подошла, ища защиты. Это было божественное зрелище. Словно Ева, изгнанная из рая и успевшая одеться, договаривалась с непоспешным Адамом, где им лучше встретиться на земле, а коза эту библейскую картину только усугубляла. Выкрики и хохот с крыльца привели Гогу в себя, и он вдруг начал пятиться от женщины, руки скрестив спереди, как обычно это делают купальщицы на полотнах старых мастеров. После резко повернулся и неловко побежал, целомудренно пытаясь прикрыть теперь руками зад, тоже невообразимо волосатый.

— И вот, век мне свободы не видать, — досказал свою историю Деляга, — а хозяйка этой козы через полчаса пришла к крылечку. Принесла нам две бутылки самогона, а взамен просила вызвать Гогу. Только он уже был в полной от-

ключке, и бутылки достались нам под обещание, что мы завтра в это время предоставим его в лучшем виде. Слово мы, конечно, не выполнили, а от бабы этой Гога прятался еще с месяц, до конца лета. Каждый день выходила она забирать козу в шелковом платье и с прической, а обратно шла мимо барака и печально замедляла шаги. Так ее нам стало жалко, что потом и мы стали прятаться.

— Ты был счастлив тогда, Деляга? — отчего-то вдруг спросил Писатель.

— Это его волнуют твои душевные бездны, — сказал Бездельник.

— Не слушай дурака, — сказал Писатель.

— Наверно, счастлив, — ответил Деляга очень серьезно. — Молодой был. Но все время ожидал чего-то — будущего ждал, идиот. Не умеем мы сегодняшним днем жить, хотя им-то и надо наслаждаться.

— Даже здесь? — хмыкнул кто-то из нас.

— Конечно, — убежденно сказал Деляга. — Живы, есть надежды, часто интересно, курево есть, еда невпроголодь. Грех жаловаться.

— Умница, — сказал Бездельник. — Это вполне по-моему. Самый тяжелый грех — неблагодарность.

— Вот я когда был счастлив! — вдруг воскликнул Деляга, остановившись. — Я тогда прорабом работал, налаживали мы подстанцию, халтуру делали в воскресенье. А бригада у меня новая была, я еще не знал их толком. За водкой сбегали и купили гадость какую-то, что попалось. Стакан — один. Первые двое или трое выпили — поперхнулись, плохо пошла. Моя очередь, я выпил удачно. Закусил и скалюсь от удовольствия. Тут ко мне подходит один мужичонка из бригады, Митя, потом умер, бедолага, от пьянства, хорошо так умер — сошел с троллейбуса, сел на скамью, закурить успел и отключился. Да, так вот он ко мне подходит сзади и на ухо шепотом говорит:

— А ты не так прост, как кажешься!

Как я тогда был счастлив этой похвалой! А ты, Писатель?

— Я, сказать честно, и не упомню, — сказал Писатель. — Нет, помню, прыгал на одном месте, чтобы возбуждение унять, когда позвонил в издательство и мне сказали, что мой первый рассказ принят, я тогда фантастику писал. А ты, Бездельник? От какой-нибудь собственной же шутки, скорей всего?

— Ага, — охотно согласился Бездельник. — Причем от очень патрнотической. У меня как-то начальник был, из поволжских немцев. Сука редкостная. Нас однажды много собралось, иа аварню нас вызвали всех, н этот немец Фукс прнехал со своими шестерками, их райком партии заставил, чтоб они нас погоняли, чтобы скорей. Вот они кучей вокруг нас стоят, при галстучках, а мы трое возимся, н Фукс про меня, хоть я рядом же работаю, спрашивает моего напарника громко, пью лн я, дескать, на работе. Тот говорит — нет, не пьет. Правильно делает, говорит Фукс, в Росснн пить водку евреям нельзя, можно только немцам и татарам. Почему он так сказал, сам ие знаю — просто хотелось ему громко что-нибудь сказать о евреях, тон был какой-то мерзкий. Я ему тогда и говорю: раз татарам н немцам, то тогда уж и французам можио. Почему, он говорит, н французам? Потому что, говорю я ему вежливо, им как раз всем троим в России по жопе далн. Все его шестеркн за угол смеяться побежали, он стоит молча, а во мне такая радость играет! Вскоре после этого, правда, я нн за что строгнй выговор схлопотал, не нашел он другого способа мие ответить.

Тут все трое на меня посмотрелн, потому что очередь была за мной.

— Я, ребята, — сказал я честно, — и сейчас острую радость испытываю от того, что с вамн здесь троимн нахожусь. Так что вы сидите не зря, очень бы мне без вас херово тут сиделось.

ГЛАВА 6

Здравствуй! Снова пишу тебе письмо, которое не буду отправлять. Замечательное у меня теперь есть место, где писать и прятать свои бумаги. Раньше это сложно очень было, где я только не рыскал по зоне, чтоб найти укромное местечко. И вот нашел. В больничке нашей лагерной, в санчасти. Нет, не бойся, я здоров совершенно. Безнадежно, я бы сказал, здоров (тьфу, тьфу, тьфу, ибо здесь болеть нельзя). И в больнице бывают шмоны, только мой курок безупречен (курком здесь именуется место, где что-то прячут, — возможно, от старого глагола закурковать, то есть схоронить, затаить, заначить).

Дело в том, что вся больничка наша лагерная целиком держится тут на лепиле Юре, бывшем хирурге из Норильска. У него пухлые щеки избалованного ребенка, а в часы усталости — обрюзглое лицо римского патриция времен упадка империи. Неплохой он, очевидно, хирург, но денег на все радости жизни ему очень не хватало, а он падок до этих радостей, так что стал, будучи заядлым меломаном, подторговывать чем-то музыкальным, а потом случилось неизбежное: у кого-то взяли деньги заранее, обещанное не исполнили, денег не вернули, словом, — четыре года за мошенничество. Ну а здесь его сразу взяли в медчасть, официально числится санитаром, но вольных врачей тут всего двое (да еще одна фельдшерица, да начальник, спившийся до бесполезности), так что Юра — полноправный с пяти часов, когда уходят вольные, хозяин больнички. Мы с ним подружились, и мне здесь бывать удобно и хорошо. Главное же — тайник для записей. Помнишь, как я в Москве любил тебе хвастаться чем-нибудь, если было чем (да и если не было — тоже), а ты слушала меня с усмешкой, но попетушиться не мешала, полагая, что такое слушать — входит в обязанности жены? Ну так вот: я завел просто двух новых больных, то есть взял корочки от историй болезни, написал на них две фамилии и поставил в огромную лагерную

картотеку. Их никто не вытащит никогда, ибо нету в нашем лагере людей с точно совпадающим именем, фамилией и отчеством (я и проверил на всякий случай), если же кто случайно заглянет, то и первый лист есть, с первыми жалобами больных. В этих папках мои записи и лежат. Кто больные, ты спросишь, и на что они жаловались, бедняги? Следователи мои, вот кто мои больные! Станислав Петрович Беляков, сука самодовольная, — у него прописанная мною ишемическая болезнь, это что-то с сердцем. Жалуется на боли, на бессонницу, на упадок сил и импотенцию. Поделом ему, ты ведь, конечно, помнишь, сколько мерзостей и с каким удовольствием он делал. А вот Галину Федоровну Никитину пришлось превратить в Глеба Федоровича, у него болит рука (как у нее, она мне жаловалась в тот последний день, когда вдруг впала в откровенность и сказала мне, что знает, что я не виноват, но поделать ничего не может, слабая женщина на маленькой должности). Я простил ее (точнее — понял, что одно и то же), так что рука у Глеба Федоровича болит несильно. А записям моим очень, думаю, приятно прятаться под этими фамилиями и чувствовать себя в безопасности и тепле (не то что раньше), я же сам от своей выдумки — в полном, как мальчишка, восторге. Потому вот и решил тебе похвастаться, вызвав сюда в дневник твой образ. Что люблю тебя и что всем приветы, написал уже сегодня в письме, которое отправил. А теперь поговорю с тобой подробней.

Я пишу здесь обычно по ночам, когда все уже в санчасти засыпают. И на редкость мне уютно тогда сидеть в кабинете физиотерапии, среди приборов, отключенно отдыхающих ночью. Весь день хозяин кабинета нещадно гоняет их: зеки греют кварцем свои гнойники и чесотки, облучают простуду ультравысокой частотой, мажутся скудным по ассортименту, но имеющимся все же набором мазей, выдаваемых сюда из аптеки. Здесь вдруг чувствуешь, какое время стоит на дворе, и стихает ощущение заброшенности в дикую глушь, где тебя никто не слышит. А писать здесь безопасно только ночью, потому что неизвестно, кто доносит о жизни больницы в оперчасть. Только догадываться можно — человек этот весь день крутится по бараку санчасти, но, возможно, что стучит не он. А возможно, что не только он. Словом, остается мне ночь с ее блаженной тишиной, легким присвистом спящего хозяина кабинета, желтой шторой, за которой облепили окно желтые листья увядающей на зиму хилой черемухи, птичьими голосами крысят,

копошащихся где-то под полом, и кисловатым компотом — жижей из-под него, которую можно добыть на незапирающейся кухне. Только следует прежде чем войти сунуть руку в комнату и включить свет, чтобы успели разбежаться крысы жуткой величины. Одну из них я даже знаю — прихрамывая, она всегда уходит последней. Крысы всюду живут на зоне. Здесь в санчасти они еще довольно скромны в своих притязаниях на жизненное пространство. А вот в клубе, где поселили наш отряд, крысы забираются, чтобы погреться, прямо на нары к зекам, устраиваясь в складках одеяла и неторопливо плюхаясь на пол, если хозяин просыпается. А завхоз отряда, рослый сибиряк с лицом раскормленного дебила, спит на сцене клуба, под ней крысы издавна чувствуют себя как дома. По ночам они бегают по сцене и пытались уже много раз оттащить к себе его тапки. Явно склонный к жестоким развлечениям, он сколотил из досок нехитрую западню и ловит за ночь их по нескольку штук. Захлестнув лапку пленницы оголенным концом провода, он вставляет провода в розетку и вторым проводом покалывает крысу. Та от каждого электрического удара совершает прыжки, извиваясь от боли и отчаяния, а прихлебатели завхоза громко гогочут на сцене, мешая спать сотне зеков, но все молчат. Завхоз этот и зеков бьет с таким же остервенением, а с начальством лагеря он связан не только доносительством, но и через местного своего дядю, достающего для лагеря гвозди и весьма дефицитное железо, так что он неуязвим, этот завхоз. Скоро наверняка уйдет он на досрочную свободу за образцовое поведение и трудовое усердие, только ждет положенной половины срока. У него всегда есть чай, консервы, сало, курево, так что и зеков крутится вокруг него множество — черт с ним, впрочем, я отвлекся от санчасти.

По ночам раздаются звонки в наружную калитку санчасти — пряча бумаги, я гашу свет и выжидаю. Это обычно привозят с промзоны пострадавших в ночную смену — то и дело ничем не огражденные пилы проходятся по рукам зеков. Здесь бывало, что пальцы приносили в кепке, чаще они безжизненно висят на кровавом месиве культи. Юра сразу делает операцию, очень стараясь сохранить пальцы, и здесь шутят, что хорошо бы ему продлить срок — больше будет спасенных рук, потому что вызываемый ночью вольный хирург предпочитает, чтобы долго не возиться, ампутацию всего, что уже подрезала пила. Чаще, впрочем, приводят избитых — все они, как один, говорят, что

упали сами и расшиблись. В этих случаях хирурга не будят, раны промывает и делает перевязку хозяин кабинета, приютивший меня, тоже зек, двухметровый с угловатыми чертами парень, источающий доброту и сострадание. Бывший железнодорожник, инженер-механик. Обкрадывали они всей бригадой вагоны проходящих поездов — что попадалось, то и брали: приемники, коньяк, яблоки и рубашки. Но дали им всем немного, ибо очень много дали их жены следователю и судье.

А недавно часа в три утра принесли моего знакомого, блатного Володю Малыгина, залитого кровью, хрипящего, с огромной колотой раной в правой стороне груди. Он еще успел прийти в себя после укола адреналина и, не открывая глаз, очень разборчиво сказал: "Бейте же, суки, бейте", — и умер, а из рваной дыры еще с минуту, наверно, выпузыривалась, застывая, кровь. Пожелтевшее восковое лицо его выглядело очень взрослым, и трудно было поверить, что ему всего двадцать четыре года. А до свободы оставался месяц, он уже пять лет сидел за воровство и драку.

Если приводят раненых с промзоны, то непременно утром приходит инженер по технике безопасности, странноватый старик со скуластым, несколько казацким лицом, только одичавшим и высохшим. У него тут умерла когда-то жена, он решил дожить здесь остаток дней, и от мира немного отключен. Приходит (в этом вся его работа), чтобы взять у пострадавшего заявление, что тот поранился по собственной вине. А по поводу смерти поднимают оперативную часть, и офицеры с красными от лютого похмелья глазами приходят в санчасть один за другим и уходят, чуть потоптавшись.

Это было уже второе за этот месяц убийство — первым принесли неделю назад забитого насмерть педераста. Он приехал сюда с другой зоны и пытался скрыть, кто он, ел со всеми за одним столом, никому ничего не говорил. Знал, конечно, что карается такое жесточайше, но надеялся, что ему повезет. Но сюда же перевели зека с его зоны, одного свидетельства достаточно. Бить его начали в тот же день, как все открылось, в бараке его отряда, а потом он еще был в силах выйти со всеми на работу во вторую смену. Что его ожидает, он знал, но упрямо надеялся на чудо. С наступлением темноты его снова начали бить и, конечно, темнота усилила ожесточение. Когда его принесли в санчасть, он уже даже не стонал, но еще прожил часа три. Бивших его было слишком много, так что, как всегда в таких случаях, отыскали крайних

(крайний — лагерный синоним виноватого), и троих посадили в карцер на пятнадцать суток. Лишнего шума в таких случаях стараются не поднимать — это портит репутацию начальства зоны, а в свою очередь — и отчетность вышестоящих, поэтому, если вмешательства родных не предвидится, то и виноватым все обходится легко.

Смерть Малыгина не была обычным убийством: в лагере бывает, что доведенный до отчаяния то побоями, то поборами мужик изготавливает нож и ждет удобного случая. Здесь было иное. Малыгина убили его же приятели, окружение его и подручные, — так называемые шерстяные; что они между собой не поделили, так никто и не узнал, только ясно, что какие-то пустяки. Утром, когда их подняли из карцера, трех убийц, его вчерашних кентов, всадивших ему в грудь огромный напильник, их зачем-то привели в санчасть к телу убитого. И один из них — тот как раз, что бил, подошел к нему совсем близко и сказал спокойно и негромко:

— Ты прости, Володя, я тебя уважал.

Их назавтра же увезли с зоны, опасаясь, что сведение счетов будет продолжаться, а его положили в гроб и отправили на вскрытие в недалекий, тоже лагерный, поселок, где в санчасти делалась экспертиза. Труп сопровождал в автобусе офицер оперчасти, он-то и сообщил, вернувшись, что в гробу оказался в ногах убитого букет цветов.

А цветы действительно водились на дворе санчасти. Несколько старых автомобильных покрышек от огромного лесовоза были клумбами — на земле, засыпанной в них, росли незамысловатые северные цветы. Часть из них росла во вкопанных в землю больших консервных банках от повидла, их под осень убирали в прихожую санчасти, и они там еще долго не опадали. Желтый маленький пучок цветов и нашел офицер в ногах убитого. А разбор по этому делу продолжался куда дольше и шире, чем разбор самого убийства. Потому что кровно оскорбило честь офицеров оперчасти, что кто-то осмелился и тайно почтил цветами заколотого блатного зека. Вызывали в оперчасть человек десять, вымогая признание или донос, и никак не успокаивались, никак. Прекратил это один наш приятель, кент Малыгина, которому до освобождения оставалось всего пять дней. За пять дней до воли бить не будут, сказал он и взял цветы на себя. И ему действительно сошло это с рук, только обматерили, как умели. Очень был ему благодарен Бездельник: мучительно не хотелось опускаться в изоля-

тор, а ннкак не хватало душевных сил пойтн прнзнаться, чтобы прекратилн всех таскать. Ннкто ие знал, что это сделал он, а сам он нз осторожностн сперва, потом стыдясь своего страха, так ннкому н не сказал.

А теперь вложу сюда два лнстка, напнсанных мной иаскоро сегодня днем, — я смотрел, не отрываясь, а потом сейчас же запнсал, оттого такая репортажность.

Прннеслн с промзоны человека. Без сознання, сердце едва прослушнвается, но жнвой. Быстро снялн с него, стащилн, сорвалн все напяленное грязное рванье. Ннкакнх следов избнення. Жутко заросшее грязью, до предела истощенное тело. Торчат ребра, торчат кости таза, впавшнй доиельзя живот — словно дно обтянутого кожей корыта. Разбнта губа. При паденин, очевидно. И, как у миогих в таком провальном состояннн, напряженно торчнт член, словно жнзнь последннй раз торжествует над смертью. Слабые хрнпы, пена. Шок. В таком вот крайнем нстощеннн, говорнт мне Юра, наш организм начннает всасывать, сиова пускать в оборот уже отработанные вещества, средн которых самые разлнчные яды — отсюда и эта автоннтоксикация. Самоотравление. Не знаю, так ли это, раньше не доводилось слышать. Юра вознтся, вводя сердечиые, укрепляющне, возбуждающне средства, прокачнвает что-то через кровь, требует, чтобы нзмерялн колнчество выделяемой мочн — для контроля, сколько введено жидкостн н сколько вышло. Так проходнт, пролетает часа два. Зек открывает глаза, бормочет что-то, порывается сесть, неразборчнво проснт покурнть. Будет жнть? Пока иензвестно. Сорок лет. Бывший бнч нз Красиоярска, посажен за то, что не работал. Но ведь както жил же. А теперь? Безнадежно запущенный человек, безнадежно нстощнвшнйся органнзм. Чухан. Каждый день в лагере покорно ходнт на работу. Что-нибудь таскает, убнрает, чнстнт. Его бьют, если носит медленно, его бьют, еслн что-ннбудь делает не так. Чухан. А придя с работы, еще моет полы в бараке, стнрает кому-ннбудь, носнт воду и жнвет уже в грязно-сером тумаие, очень слабо что-ннбудь соображая. Жадно ест, еды ему всегда не хватает, как-то не впрок она ему. Но еще жнвет. Вернее — жил. Ибо сейчас — только зыбкнй уже баланс между тем, что вряд лн можно было назвать жнзнью, н безусловным досрочным освобождеинем — смертью — может быть, благостью для него.

Поднялось н выравнялось давленне кровн, уже почти осмысленно смотрят глаза. Нет, иачннает вдруг дергаться всем

телом, бьет о стол истонченными до костей ногами в пятнах кровоподтеков и нарывов, хрипло выговаривает что-то, словно порываясь запеть. Это собственные яды будоражат и травят снова оживший было мозг. Страшное пьяное оживление, более похожее на агонию. Но пока живет. А надо ли это? И ему, и человечеству — надо ли? Безусловно, это надо врачу, он привычно борется со смертью, он не задумывается, в этом — его собственная жизнь. Надо начальству лагеря — больно много смертей на зоне, потому дистрофиков и отправляют спешно на специальные больничные зоны. А вот больше, кажется, не надо никому. Если где-нибудь у него остались дети, им вряд ли нужен такой отец. А сам-то себе — нужен он? Не знаю. Начинается отек легкого. Легкие заполняются газами и водой, он хрипит и снова без сознания. Снова уколы, приносят кислород — накачанную автомобильную шину. У Юры сейчас хищное и вдохновенное лицо, он очень азартен во всем, что делает, ведь отсюда, кстати, и его срок. Хрипы, подергивания, стоны. В обстановке современной городской больницы его спасли бы наверняка, а шансы здесь — гораздо меньше половины. Организм его почти не борется, вся надежда на поддержку извне.

Побывали уже здесь оперативники, но ушли, узнав, что это не по их части. Виноват здесь только лагерь в целом. Не приходит и начальник санчасти, алкоголик, бывший санитарный врач, и в отъезде или в отпуске хирург — не будь здесь зека Юры, никто бы и не стал бороться. А Юра месяца через два уйдет на химию, так что все здесь пойдет по-прежнему. Лагерь, он и есть лагерь. Господи, дай мне умереть дома. Или в поезде. Или где угодно. Но не здесь. Очень грязно здесь и безнадежно. А по радио — концерт Бетховена, а за оградою санчасти строится на развод вторая смена, у больных был обед недавно, большинство из них спит сейчас. Вместе с Юрой возятся санитары — тоже зеки, вольных санитаров нет (бывают ли?). Бывший инженер-механик и бывший слесарь-жестянщик. Кислород подает бывший плотник — месяц назад он пришел в санчасть и принес на всякий случай в своей шапке (здесь ее называют пидеркой) все пять пальцев левой руки. Юра зашил ему культю, он прижился здесь, отличный мягкий человек, стал ключником — отпирает двери в санчасть и убирает. О постигшей его беде говорит спокойно, даже весело. Что он будет делать на воле, однорукий плотник с двумя детьми, он не обсуждает ни с кем.

А на улнце — сиег, снег заметает плац н бараки. Нежный, легковейиый, пушистый, как-то неуместен он здесь, этот вольный искрящийся сиег.

Умер. Остановилось сердце. Еще уколы, искусственное дыхание, сердечный массаж. Бесполезно. Пришло вызванное начальство. Очень явио успокоилось, узнав, что бич — значит, иету, скорей всего, родных н близких, н ннкто не станет узнавать, доискиваться, жаловаться. Я сижу, курю н думаю о тех многих десятках (если не сотнях) тысяч, что хватают по всей стране и осуждают по статье 209-й — уклоненне от работы. Даже если ие воровал. И число таких миожится и множится. Проблемой всяческих хиппи заннмается весь мнр, нашими — только карательиая машина. А какие-то психологические пружнны выталкивают молодых еще совсем людей нз русла заведенной жизни. И живут онн черт знает где, по колодцам теплоцентралей н лачугам, питаются чем попало и упорио уклоняются от регулярной работы, кое-как от случая к случаю перебиваясь. Странное какое-то моровое поветрие, уродливое проявленне того сквозняка свободы, что дует и дует изо всех щелей нашего гигантского рассыхающегося барака.

А фамилия его была — Апухтин. Здесь иа зоне миого таких значимых, напоминающих фамилий. Есть завхоз лагеря Пастернак, два Леоиовых — мужик и блатной, есть чухан Тютчев и стукач Рождественский. Есть еще, наверно, все никак не соберусь просмотреть карточки больных илн какие-нибудь списки. А вот Апухтина уже нет теперь. Длилось это четыре часа. А сейчас мы все здесь чифирнем, Апухтин, больше нечего нам, прости уж, выпить за упокой твоей отлетевшей души.

Вообще очень легко относятся тут к смерти в лагере, это более всего подтверждает странный глагол, означающий здесь смерть, — крякнул. Даже н не знаю почему — может быть, от чрезвычайного, просто разлитого в воздухе лагеря ощущения заброшенности, ничтожности и ненужности здесь любого человека. Я, признаться, тоже очень спокойно принимаю виденные мной смерти и куда сильней переживаю за живых — вот за Володю, например, что лежит в одной из палат.

Он пришел в санчасть сам, приковылял как-то, серо-бледный, н на лбу — потеки пота. Очевидно, боль его терзала неимоверная, но держался он хорошо. Час тому назад на вечерней перекличке нового этапа дежурный сержант по прозвищу Синеглазка (в самом деле — юный, симпатичный, ярко голубоглазый), посмотрев на него, сказал:

— Будто я, парень, видел тебя где-то?

Ему бы молча пожать плечами в ответ — крепко выпивши был в тот вечер Синеглазка, а садизм, неуклонно развивающийся тут у них всех от неограниченной власти, во хмелю особенно бывает опасен — но Володя этого не знал.

— Нет, начальник, — ответил он, — мы с тобой на воле никак знаться не могли, дороги разные.

— Ну-ка, выйди сюда, познакомимся, — усмешливо сказал Синеглазка. Володя вышел из строя. Синеглазка, ясной своей улыбки даже не смахнув с лица, со страшной силой ударил его сапогом в пах. Володя закричал от боли и присел, скорчившись, а Синеглазка ушел докладывать о проверке наличного состава. Через час боль стала невыносимой, и Володю выпустили к врачу. Одно яйцо у него вздулось до размера небольшой дыни, став чудовищным сине-багровым шаром. Ему сделали уколы — и болеутоляющие, и снотворный, — но и заснув, он продолжал стонать. На него приходили посмотреть из других палат и уходили, бормоча бессильные проклятия. Жаловаться было некому, ибо впустую и небезопасно, жить ему здесь еще предстояло долго.

Здесь до Юры, между прочим, тоже был фельдшер с настоящим медицинским образованием, но его списали в грузчики за то, что слишком усердно и часто он вытаскивал зеков из длительного изолятора, чтобы подкормить и дать передышку. Он очень добрый лет тридцати мужик, но насчет его образования (кстати, он и сидит за какую-то подделку документов) я сомневаюсь, ибо однажды слышал замечательный его рассказ, как он дружил в Красноярске с некогда знаменитым в этих краях хирургом Зимой (говорили, что это был виртуоз, но спился вконец и покончил вдруг с собой по неизвестным причинам — отравил себя в машине газом). Да, так вот рассказ этого фельдшера Семена:

— Значит, делаем как-то днем операцию одному больному, сами делаем, Зима в запое был. Вырезаем обе почки ему, сгнившие они были, все перешиваем так, чтобы он без них обходился. Зашиваем. А у него, тогда-то мы не знали, уже рак легкого был. А при раке надо операции при красном свете делать, колпаки красные на лампы надевают, светофильтры, потому что раковые клетки — их если засветишь, они расти начинают. А мы не подумали про рак. Тут Зима вдруг приезжает, поддавший крепко, но не в отключке. Уже зашили, говорит, а у него же рак. Что наркоз-то, еще действует? Вроде, да. Ну, клади-

те его обратно на стол. Снова его Зима разрезал, а уже раковые щупальца оба легких обвили, вот ведь как растут от света, суки. Уже вот-вот задушат. Он эти щупальца отсекает, а по пьянке — и легкое почти все. Что, говорит, склад еще работает? Позвонил, договорился, уважали его очень везде, смотрим — несет уже кладовщик искусственное легкое. Ну, Зима его вставляет, пришивает — все. Только наркоза пришлось чуть-чуть добавить. Тут мы загудели с ним дня на три, на радостях, что человека спасли. Я тогда даже часы пропил. Случай, ведь мог и не приехать. Хорошо на воле жили, с пользой.

Затаив дыхание, слушали мы все Семена-фельдшера. С уважением, сочувствием и доверием. Вся-то наша жизнь — от случая.

Пора заканчивать, уже вот-вот подъем. Крепко обнимаю тебя. Глупо это, конечно, — обнимать через тысячи километров в письме, которое не отправляешь. Обнимаю тебя. До встречи.

ГЛАВА 7

Постоял, стрельиув сигарету, симпатичиый мужик Леха. Бывший таежиый охотиик, миого ходивший с геологами, погибавший в тайге несколько раз и выбиравшийся чудом. После медвежьей своей дикой свободы ои приживался здесь мучительио тяжело. Сел ои за поступок справедливый и иеобходимый. В поселке, где сошлись иесколько геологических партий, завелась компаиия здоровенных местиых ребят, отбиравших у геологов деиьги. И при этом зверски избивавших жертву, чтобы зиал иаперед, что последует, если пожалуется. Зиали это в поселке все, ио каждый молчал, оцепеиев от страха оказаться первым в иеизбежиой мясорубке — у компаиии этой были иожи, а отпетость свою и иа все готовиость оии старательио и постояиио демоистрировали. И однажды утром, когда избили иакауиуе и обобрали Лехииого приятеля, ои пошел одии в дом, где квартировали трое бичей из этой компаиии. (В которой, кстати, крутились и сыиовья местиого начальства, еще поэтому каждый боялся что-иибудь против иих предприиять.) Через час Леха ушел оттуда иикем ие замечеииый — было похмельное воскресиое утро. А те трое, которых ои там застал, — когда очиулись и умыли вдребезги разбитые морды, прямиком пошли в милицию заявлять о хулиганстве и иасилии. Да притом еще сказали дружио, что у Лехи был охотиичий иож. Им ие срок ему хотелось прибавить, а просто стыдио было, что такое иатворил с иими тремя одии, пришедший с голыми руками. И хотя иа суде выступил ограблеииый и избитый ими иакануне геолог, и хотя всем было все понятио, ио хулиганство есть хулиганство, сказал райоииый прокурор. И приехал сюда Леха иа три года. Нет, он ошалел ие только от иеволи. Ои за свои тридцать пять лет, иесмотря ии иа какие былые приключеиия, иикак ие мог привыкиуть к повседиевиой бытовой жестокости. Когда при ием били кого-иибудь, а кого-иибудь били иепрерывио, приучая к своему стойлу, как тут приията говорить, то есть к беспрекословиому послушанию, ои сжимался весь и смотрел иеотрывио

— видно было, как хотелось ему вмешаться н двумя-тремя ударами укротить радетелей лагерного порядка. Оии в иашем отряде возиикли как бы сами собой, и уже через месяц была выстроена очевидная, явиая лестиица иерархии, с верхних ступеней которой били всех, а с последующих — всех, кто ниже. За возраженне илн промедление, за строптнвость, по наущеиию любого, кто выше, по настроению, при любом проявлеиии иесогласия. Особияком остались иемногие, в эту иерархию не вписавшиеся, Леха был средн иих: с очевидностью готовые постоять за себя, ио и ие задиракющне ннкого н ии к кому ие примкнувшие в поисках опоры н определенностн, жнвущие самн по себе, что в лагере очень нелегко.

И еще Лехе явно не хватало еды. Он не жаловался, ие пытался вечером подработать иа кухне, возле которой к отбою блнже всегда вертелись пять-шесть желающих помыть полы за мнску кашн, не пытался сесть за стол последним, чтобы разливать на десятерых и себе зачерпнуть погуще, но с такой благодариостью прннимал хлеб, который мне иногда удавалось добыть ему или просто оставить, что сомненнй не было ннкаких. И лицо его, быстро обтянувшееся сухой кожей, говорило яснее слов, что дальше будет хуже и трудией, — организму ие хватало пищи, а работал Леха ежедневно, по прнвычке честно н не прячась. Денег иа подкорм через ларек ему неоткуда было ждать. Курева у иего тоже ие было, а курильщик он был заядлый, ио упрямо ие просил у того, кто ему отказывал хоть раз, так что скоро н просить стало не у кого. Были у него два брата, старший и младший, тоже такие же, как он, вольные таежиые охотиикн, ио из-за них-то Леха н бросил однажды отчий дом. Правда, там отца уже ие было — пьяиый, он повесился иа сеновале, разозлившись иа Божий мир и ие зная, как его переделать, от бессилия н душевиой ярости. Очеиь было болезиеиное у него (пснховатое, как говорил Леха) чувство справедливости, отчего бесчислеииое количество уиижеиий и обид переиес он уже иа глазах у Лехи взрослого, враждуя за что-то с райоииой властью в нх поселке. Мать слегла после его смертн с параличом обенх ног, братья после отдали ее в дом престарелых, Лехи уже ие было в доме. А с того иачалось, что старший, пропадая в тайге подолгу, от кого-то узиал однажды, что жеиа его стала погуливать. Этот кто-то сказал ему вдобавок, что, возможио, это Леха к ией ходит. Леха был в своей зимней избушке в тайге, когда братья прибежали иа лыжах, отмахав километров восемьдесят. Выпили,

поговорили о чем-то, Леха никак понять не мог, что их привело к нему, но за собою ничего не знал, так что и настороже не был. Спохватился, когда они его уже вязали. Выволокли на воздух, подтащили волоком к проруби, за ноги обвязали веревкой и спустили головой под лед. Вытащили, не дав захлебнуться, но уже сознание потерявшего. Положили спиной на лед, подождали, пока открыл глаза, и только тут старший брат его спросил:

— Сознайся, сука, Нинку ебал?

— Да вы что... — договорить он не успел, его снова сунули в прорубь. А на третий раз, чтобы мука эта скорее кончилась, он закрыл глаза и кивнул. Но топить они его не стали, а так же волоком притащили обратно, помогли раздеться, дали водки и сидели молча с час, пока он полностью в себя не пришел. А тогда старший сунул ему клочок тетрадочной бумаги, загодя припасенный в полушубке, ручку и сказал коротко:

— Пиши, что было.

Леха взял ручку так же молча и написал, что два раза ходил к жене брата и оставался там ночевать. Старший, оказывается, решил ее убить за измену, а чтобы срок за это вышел поменьше, позаботился о вот таком оправдании. Посоветовал ему кто-то опытный.

И оставив Леху, они ушли. Не ударив, не сказав ни слова. Он тайгу в этих местах знал куда лучше, чем они, так что через два всего часа легко их обогнал и подстерег. И ружье, разряженное младшим, было снова им заряжено теперь, как на медведя, а у них ружья были за спиной. Очень удивились они, его увидев. Он же, взведя курок, только одно сказал:

— Рви бумагу, скотина.

И расписку эту старший порвал. Леха, когда рассказывал нам это, хоть лет пять уже прошло, бледный сделался, и глаза кровью вдруг заплыли — оба, как бывает, если крохотные сосудики в них от напряжения лопаются. В ту же ночь, так домой и не зайдя, он избушку свою колом подпер, уехал и завербовался к геологам смотреть за ихними лошадьми. Нет, сперва бродяжничал до весны, пил, но опомнился и взял себя в руки. Никаких вестей из дома с той поры у него не было вовсе, только вот про мать узнал случайно, а из лагеря он недавно младшему написал, но ответа не ожидал, как мне кажется.

— Ты откинешься, опять с геологами пойдешь, Леха? — спросил Бездельник. Он Леху очень полюбил — за его человеческую надежность, как пытался он нам смутно объяснить.

Правда, мы его вполне понимали.

— Нет, я в тайгу опять уйду, забью себе участок и буду жить, — ответил Леха очень твердо — очевидно, выношенный был план. — Я с людьми больше жить не буду, — сказал он. — Я с такими бы, как вы, жил, но вам со мной неинтересно, да и в городе мне делать нечего. Буду соболя промышлять, как раньше. Одному легче будет. Спрятаться хочу куда поглубже.

— Странно мне, — сказал Деляга, глядя ему вслед, и засмеялся чему-то. — Непохожие такие люди, а мечта одна. Я такого же точно в Москве знал, только мне тогда не слишком понятно было, чего он хочет. Рассказать? Значит вот, лет десять тому назад. Нет, чуть поменьше.

Адрес тогда Деляге дал один приятель, сказав, что знает биофизика, раньше в их лаборатории работал, а потом уволился и пропал, тоже, мол, увлекается иконами. Пусть Деляга съездит к нему, очень был мужик симпатичный. Чуточку только свихнутый на смысле жизни, вечно любой разговор на этот смысл сворачивал — для чего живем и все такое. И Деляга поехал как-то вечером. Дверь ему открыл его лет молодой мужчина, внешности ничем не примечательной, только глаза почти прикрыты веками, словно спит уже и дверь открыл машинально. В однокомнатной его квартире на всех стенах висели, теснясь, иконы, были хорошие, но особенного — ничего. Деляга их хвалил, рассматривая, но хозяин откликался односложно. Гость ему был явно ни к чему. А минут через двадцать, уходить уже собравшись, вдруг поймал себя Деляга на чувстве, что невероятно странно ему здесь, будто он уже здесь был однажды, а возможно — и не раз бывал. Огляделся, от икон оторвавшись, и про себя тихо ахнул: все здесь было точно так же, как в музее Пушкина в Ленинграде на Мойке: и диван, и полукресла, шкаф такой же, секретер — мебель вся была начала девятнадцатого века. Ничего здесь не было от двадцатого, кроме лампочки под потолком и будильника. Удивление во взгляде гостя уловив, хозяин усмехнулся и сказал:

— Десять лет, как собираю. Всю работу в институте запустил, а потом совсем ушел, нанялся в артель краснодеревщиков. Курите? Садитесь, курите. Я этот шкаф когда нашел, он весь в дырах был, поломанный и облезлый, в нем штук двести заплат вставлено. А секретер на себе десять километров нес, из усадьбы был, наверно, тоже сам реставрировал. Все вещи начала девятнадцатого века, потому так на квартиру Пушкина

похоже, это вы заметилн верно.

И овальный стол, за который онн селн, тоже был того же времени, теперь заметил Деляга, как любовно стол этот собран заново н укреплен, отполнрован, покрыт лаком, а наверняка был обшарпан н шатался на четыре ногн.

Заговорилн о музее Пушкнна на Мойке. Почему-то нменно этому человеку первому рассказал Деляга о странной своей реакцин на этот музей: был там уже раз десять, н последнне разы специально — проверял, заплачет лн снова, когда дойдет до кабннета, где под кннгамн умер Пушкнн на своем диване. И читал он по дороге в кабннет запнскн друзей о последннх часах поэта нлн не чнтал, все равно каждый раз опять выступалн слезы, ннчего с собой поделать не мог. Странная была лнчность — Пушкин, больше не было такнх н не будет. И сказав эту пошлость, замолчал Деляга, пожалев, что вообще заговорил. Но хозяин понял его по-своему.

— А я н время это все люблю, — сказал он. — Страшное, конечно, как почитаешь. А от мебелн — покой на душе. Я сейчас одной генеральше ремонт гарннтура делаю — огромная квартнра четырехкомнатная, всякой рухлядью без разбора набнтая. Все подряд, видать, покупала, на что глаз падал. На полгода работы будет. Но зато она со мной, кроме денег, расплатнтся еще н люстрой, — тут глаза хозяина прнноткрылнсь немного, — в тютельку того же временн, что здесь. Я ее повешу, н все...

Это "все" он сказал с такнм значеннем, что Деляга, недопоняв, спросил:

— Что н все?

— А то, что ннчего мне больше дома, пока я дома, — с торжеством н ожесточеннем сказал хозянн, распахнув большие карие глаза, — не будет больше напомннать о советской властн.

С этнм н ушел тогда Деляга, чуть недоумевая и чуть посменваясь над такой нелепой прнчудой.

— Молодой был я, дурак, — сказал он, — а ведь так еще недавно это слышал. Как я его сейчас поннмаю, этого ханурнка! Да н Леху тоже поннмаю.

Мы опять обогнулн барак, выйдя на плац лагеря. Пасмурный н какой-то непрнкаянный выдался сегодня день, н холодная тоска висела в воздухе. Первые только чнсла октября отлнстывал календарь, а уже падал снег два раза, хоть н таял пока сразу. Тайга за проволокой лагеря отполыхала всеми красками

увядания и сейчас нагая стояла и бесцветная, даже бурая зелень елок была уже смурная и безжизненная. Оттого и настроение в эти дни было под стать сезону. Даже наше вчерашнее былое, видевшееся отсюда куда более светлым, чем было на самом деле, вызывало сегодня мысли пасмурные и тяжелые. Оттого, быть может, и сказал неожиданно и не к разговору Писатель:

— Я-то и замкнувшись не был счастлив. Мучился все время, что не настоящий писатель. Выйду и опять начнется.

— Объясни, — сказал Бездельник. — Заодно и сам поймешь, что сказал. Или ты про то, что нет таланта? Ну или, прости, просто мало?

— Нет, как раз способности были, — медленно ответил Писатель. Очень здесь от неуюта и тоски все любили рассказывать о себе и своей жизни на воле. Даже неудобно было часто за симпатичного в остальном человека, жаль его становилось и злость брала, когда он лез в разговор, перебивая, чтобы только что-нибудь пустое вставить о своем и о себе. Вот и Писатель явно оживился.

— Нет, как раз способности были. Книги выходили, и не одна. И читались. Писем было много. И от молодых, и от старых. Нет, я не о способностях вовсе. Просто писатель — это куда шире, чем способности. Обязательно, во-первых, быть графоманом. Ведь классический графоман — он бездарен, но одна черта писательская у него есть — жажда все подряд занести на бумагу. В этом смысле все настоящие, что были и есть писатели, — обязательно и непременно графоманы. Их воодушевляет лист бумаги, как полководца — поле боя.

— Толстой был тоже графоманом, у графа мания была, — с чувством произнес вдруг Бездельник, знавший множество случайных каких-то отрывков, но почти ничего полностью. Писатель улыбнулся тоже, но продолжал серьезно:

— Этого у меня нет совершенно. Терпеть не могу писать. Мне куда приятнее рассказать и на этом выговориться.

— Ты скорее как Сократ, — сказал Бездельник.

— Не подъебывай, — сказал Писатель. — Я ведь не каждый день о себе.

Что-то больное и давнее было за его словами. Помолчав, он продолжал:

— И азарт необходим, честолюбие. И не в смысле успеха, нет. Жажда выразиться и воплотить все в слове так же ярко и полно, как чувствуешь и понимаешь. Тоже нету! По восемь-

десять раз иикогда ие стану переписывать, хоть и зиаю, что иадо бы. А пишу и ие зачеркиваю почти совсем. Ну, а про способиости тоже. Я вот совершеиио ие иаблюдателеи. Любопытство у меия есть, это правда. Но оио поверхиостиое, общее, я деталей и мелочей ие вижу, так что чеховская луиа, блестящая иа бутылочиом осколке, чтобы показать иочь, — для меня это штука недостижимая. Не художник я. Но тогда кто? И зачем тогда писать? А другого себе в жизии я ие мыслю. И еще вот эта трусость паскудиая. Не трусость, я опять ие то сказал, а какая-то готовиость к блядству. С первых же статей стал писать, как все, то есть, чтобы иапечатали, чтобы текст свой увидеть, хоть испогаиеииый пускай и покалеченный. И умалчивал, где иадо, разве что ие врал пока. Повезло с тематикой. О иауке писал. А как только первую киигу иаписал, слегка близкую к истиие, — ее зарезали. О фашизме оиа была — что ои делает с иашей психикой такое страиное, что человек живет спокойно и счастливо. На материале вполне иаучиом, публицистика такая о психологии. Зарезали. И формулировку замечательиую сукии сыи редактор придумал: обилие иекоитролируемых ассоциаций. Слишком уж про иас то есть. А мие только про иас и хотелось. Прямо болеи был этим, иаписать про иас поточией. Мие одии приятель тогда, умный был мужик, уже остывший, все говорил: это в тебе партийиость играет, хоть и диаметральиая, ио партийиость. Оиа у тебя в характере, изживай скорей свое комиссарство. Поругался я с ним тогда.

— Но разве иет иа свете нейтральных тем? — осторожно спросил Деляга. — Любовь там, история всякая, если так было писать иевтерпеж.

— Да я два исторических ромаиа иаписал, о девятнадцатом веке, — сказал Писатель мрачио, хотя с легкой мальчишеской хвастливостью. — А хотелось и в иих сегодняшиему дню перо вставить. И опять струсил. Вычеркивали у меня почем зря, даже мелочи, хоть слегка иаши времена связующие. А я — соглашался, как потаскушка. Потому что печататься охота. Настоящему, я уверен, писателю киига, в которую он вложился, дороже собствеииой судьбы. Это, братцы, и есть призвание. А тут даже ие о судьбе ведь речь, а о колбасе иа хлеб с маслом. Издатель-то в страие одии-едииствеииый, хоть и во миогих лицах, выполияешь его заказы — кормит. Досыта притом, с выпивкой и почетом кормит, а заупрямился — иету вообще тебя в природе. Так мие бы и послать его в жопу, это-

го безликого мерзавца, я же инженером мог работать, грузчиком в конце концов, да кем угодно. А писал бы не для того, чтобы печататься. Ну, а как сдался, покатился дальше, естественно. Больно жизнь сладкая. А расплата — через годы, когда оглянешься. Вот я и оглянулся недавно. Уж простите, что так занудно изложил.

— Слушай, а почему ты так уверен, что литература обязательно должна быть — ну, что ли упрекающей, разоблачительной? — осторожно спросил Деляга.

— Нет, литература может быть любой, как захочет, — засмеялся Писатель. — Это мне просто по характеру моему хотелось такого. Моя личная беда. Куча моих коллег пишут все, что хотят сказать, и счастливы, и это все — в дозволенных пределах. Совпадают рамки, что ли. Я же их нисколько не осуждаю, даже завидую, если хотите, очень часто. Но я сделан по-другому, беда моя. Могу образ один привести, от него гордыней попахивает, но уж вы меня поймите. Погаси, к примеру, свет в огромном доме. И слепые скажут больше зрячих — и интересней скажут! — про обстановку, про атмосферу, о звуках. Тоньше и интересней. Но если свет горит, а писать можно только с точки зрения слепых? Сколько будет запретных тем? А если свет не горит, то главная-то тема — что темно — и будет самой крамольной.

— Интересно, — сказал Бездельник, — что ты и сейчас нам все это описываешь, как публицист, а не художник — таким, конечно, нету у вас мест возле кормушки. Только ты уверен, что это нужно кому-нибудь сегодня — в таком вот прямом виде? Ведь будоражит, расстраивает, беспокоит.

— Это мне неважно, — сказал Писатель запальчиво. — Это мне лично нужно. Настырности моей еврейской. Ну да что там. Честно ведь говоря, художник настоящий может все то же самое сказать и совершенно другим способом. Так что сам даже не знаю, чего разнылся.

— А по-моему, — сказал Бездельник, — после всего, что в мире понаписано, и после всего, что в мире произошло, можно стать писателем только, если перестал надеяться, да и не хочешь преобразовать мир и перевоспитать человечество.

— Даже образумить, — мрачно подтвердил Писатель. — Вот поэтому писатель из меня и не получился. Может, оно и к лучшему.

— А какие надо книги писать, я знаю, — вдруг сказал Деляга. Тут мы все удивились, не ожидали. Но Деляга, оказы-

вается, историю одну знал, произошла она с дальним его родственником, седьмая вода на киселе, но когда-то виделись они, и рассказал. Человек этот сидел уже два раза и на воле тогда опять был временно, сам это понимал, потому что крал у государства не задумываясь, просто случая пока не было покрупней, а по мелочи он брезговал, такой был тип. И на дне жизни постоянно обретаясь, он единственное что в себе нетронутым сохранил — жуткую любовь к чтению. Читал запоем. А до встречи с Делягой незадолго он женился, этот человек. Миша. Но семейная жизнь его не склеилась. Верткая бабенка из торговли проявила бывалость куда большую, чем была в нем самом, вдоволь навидавшемся всякого по обе стороны колючей проволоки. А еще он постоянно читал, а ее раздражали его книги, лучше бы ты пил, говорила она, было бы все как у людей. А его она тоже чем-то неуловимо раздражала, с каждым днем все сильнее, что уж там о месяцах говорить. И они бы все равно разошлись, в доме вспыхивали ссоры все чаще, но однажды случилось вот что — притом в безоблачный в смысле раздоров вечер. Он лежал уже, поздно было, и читал какую-то книгу. А она раздевалась, напевая, долго мазала лицо кремом, волосы на что-то наматывала, сверху наскоро покрыв косынкой, чтобы уберечь, долго стригла ногти на ногах, а потом их алым лаком покрыла и полюбовалась, встав на цыпочки, чтоб издалека, и тогда только легла с ним рядом. Он читал. Книга захватила его целиком и сейчас делала с его душой все, чего хотел, очевидно, автор: замирала, вспыхивала и металась его душа. Плюхнувшаяся рядом женщина спросила:

— Ну так ты что — не будешь? Я тогда буду спать.

Очень резок, очевидно, был контраст (диссонанс, если хотите, дисгармония), потому что Миша этот, чуть помедлив, сказал вдруг — очень тихо и спокойно сказал:

— Вставай.

Но она подлила масла в огонь, что всегда случается при душевном разительном несходстве. Чуть осклабясь (металлические зубы блеснули), она сказала:

— Да ты что же — стоя, что ли хочешь?

— Ты вставай и иди спать в ту комнату, — сказал он по-прежнему спокойно, ибо не занимать ему было опыта в умении себя держать в руках, хотя все у него внутри сейчас дрожало от ненависти и омерзения. — А завтра я уйду. И не мешай мне сейчас, пожалуйста.

Потом с полчаса, не шелохнувшись, он смотрел в книгу, не

чнтая, пока женщнна то крнчала, то плакала, осыпая его грязнымн оскорбленнямн, замолкала, ожидая ответа, н начннала снова. После она хлопнула дверью, он вздохнул, устранваясь поудобней, н уже чнтал, чнтал, не отрываясь н до самого конца.

— А что он чнтал, не знаешь? — жадно спроснл Пнсатель.

— Не знаю, — сказал Деляга. — Не спросил. Это мог быть просто детектнв.

— Нет, — сказал Бездельннк уверенно. — Нет. Еслн это все н вправду было, то это был не просто детектнв. Лнтература это была. Хоть по сюжету-то, возможно, и детектнв. Но вряд ли.

С этим нельзя было не согласнться. Хотя женщину мне было жаль немного. Ведь она хотела как лучше.

Пнсатель молчал, мысленно перебнрая, как мне кажется, возможные в подобном случае кннгн. А Бездельник опять сказал настойчнво:

— Нет, не детектнв, конечно. Потому что ведь не сюжет его прнвел в такое состоянне н держал. А в детектнве что? Сюжет. А ему плевая цена.

Пнсатель посмотрел на Бездельннка чуть надменно и уж во всяком случае — усмешлнво. Бездельннк взвился.

— Да! — сказал он запальчиво. — В наше время сюжет стонт мало. И банальнейшнй сюжет может стать основой потрясающей кннгн.

— Прнмер, — сказал Пнсатель жестко. Но Бездельннк был, похоже, готов к ответу.

— Пожалуйста, — сказал он. — Человек. Руководнт крупным предпрнятнем. Мучается днн н ночн, ломая голову, как повыснть пронзводнтельность, чтоб ускорнть оборот продукцин, перевыполняя план н ожидания своих начальннков. Он улучшает машнны, подгоняет рабочнх, пншет запросы компетентным ученым. Консультнруется. Но однажды ночью, под утро, ндея осеняет его самого, н счастлнвый, начала дня не дождавшись, он бежнт — а жнвет он рядом в домнке, где в саду цветы, кстатн, разводнт, вообще он семьяннн прекрасный н очень любящий заботлнвый отец — он бежит, значнт, на свое предпрнятне н лнкует, н всем рассказывает, веля испробовать. И действнтельно, резко возрастает пропускная способность его детнща, торжествует смелая творческая мысль.

Бездельннк на секунду умолк.

— Правда, абсолютный трафарет, совершенство соцналнстнческого реалнзма, — сказал Пнсатель. — Так замызган н обсо-

сан, что классической стал пошлостью. Только где же обещанная книга, чтоб захватывала дух?

Бездельник, отвечая, даже чуть декламнровал, так торжествовал.

— А это книга о человеке, которого звалн Рудольф Франц Гесс. Он был хозяином Освенцима, — сказал он. — Весь нзвелся мыслями, бедолага, потому что транспорты с людьмн шлн и шлн, в числе нарастая, н его предпрнятне захлебывалось, не успевая пронзводить нз ннх золу н дым. И тогда он после долгнх раздумнй — н впервые в нсторнн, заметьте, открытие в чистом виде! — предложнл обливать трупы загазованных евреев тем жнром, что был натоплен нз тех, что уже сгорелн. Меньше, правда, жнра оставалось для мыла, чтобы снабжать отечество, но зато сгораемость сырья резко возрастала, а с ней вместе — производительность предприятня.

— Сукнн ты сын, Бездельннк, — сказал Пнсатель, поежнваясь. — Замечательный у нас получился творческий семннар. Пошли в барак, чнфнрнем, продрог я что-то.

* * *

Два дня назад мы чнфнрили в бнндюге на промзоне. Работы не было, лес не подвозилн третьн суткн, где-то в непролазной грязн со снегом буксовалн на таежных дорогах лесовозы. Нервнннчало начальство, беспокоясь за свой месячный план, зекн наслаждались бездельем. Чуханы убнралн отходы, составлявшне здесь, как водится, чуть лн не большую часть привознмой древесннны. Мы сидели вокруг печн, шла по кругу кружка с горячим чаем, темно-красного от крепостн цвета, дымилн сигареты "Прнма" — полиое царило блаженство. От начальства былн выставлеиы атасинкн, можио было нн о чем не беспокоиться, это были редкостные часы. Разговор шел вялый, но общнй. Даже вечно молчалнвый Сергеич, очень напомннавший Жана Габена — основательностью своей н неподвнжностью мятого лнца, — тоже расшевелился н готов был, кажется, заговорнть. Никогда он не рассказывал нам ннчего о своем прошлом, хоть легко было догадаться, что оно было насыщениым н бурным. Ои сидел уже третнй или четвертый раз, а сюда к нам на общий режим попал со строгого — есть такая форма послаблення, только ей никто не радуется слишком, ибо сидеть на строгом куда легче. Но зато на общем пнсать пнсем можно сколько

угодно н возможностей уйтн досрочно больше, а Сергенчу уже явио иадоело сидеть. Он иадеялся еще до конца срока уйтн на химию, еслн прнедет в нашу глухомань комиссия и отрядный офнцер сдержнт свое обещанне, подкрепленное давно заначеииой последней сотией. Что-то очеиь тяиуло Сергеича иа волю, большее что-то, чем обычное желанне освободнться. В этот раз он сидел по мелочн — за квартирную какую-то кражу, по сто сорок четвертой статье, а о прошлых своих делах — отмалчнвался.

Говорилн мы в полутьме о счастье — кто когда нспытывал его острое мгновенное ощущеине. Очень мне это созвучным показалось с нашнм недавним разговором у барака — так что, может быть, нменно Бездельннк н затеял этот разговор — я ие раз уже замечал, что если что-то его ннтересовало, он подбрасывал эту тему в беседу, словно щепку в гаснущнй костер. А возможно, это было в какой-то связн с непрестанно текущимн на зоне разговорамн о кладах, удачных кражах н прочих видах легких обогащеиий. Кто н как это связал со счастьем — я не заметил, только вдруг Сергенч сказал, что одно такое ощущенне он ясно помнит. Все замолклн — уважаемый был человек Сергенч (нменн я его не знал).

— Я тогда на поселенин жил, денег не было, — начал он с медлительной усмешкой, — тут цинкуют нам нз соседнего поселка, будто тамошннй директор совхоза держнт дома чуть не пять тысяч — взял нз банка для чего-то и держнт. Ну, я зацепил прнятеля н пошлн мы по наколке.

Наколка, илн наводка, что то же самое, — оказалась совершенно верной, цииканули не ложно (моглн маякнуть — очень точио в этих термниах фенн звучнт знак наведення н осведомлеиия). Сергенч убедился в этом через пять мннут после того, как залез в дом. Среди бела дня, разумеется. Сам — в коиторе, жена там же счетовод, сын — в армнн. Залезал Сергеич одии, его иапарник сидел на бревнах возле чайной напротнв дома н безмятежно распивал с кем-то иа тронх, ведя неторoплнвую беседу. В цепкости его взгляда Сергеичу сомневаться не прнходилось, были всякне совместные мероприятня, так что не в первый раз. А Сергеич, оказавшнсь в доме, сразу кннулся не к шкафу, где в бельншке моглн прятаться деньгн, а к неказнстому казенного вида пнсьменному столу, стоявшему в парадной комнате. И чутье его не обмануло. Дверцы былн заперты, но столешннца легко поднནмалась с тумбочек. Деньгн пятью аккуратнымн пачкамн лежалн прямо в верхнем

ящике. В ту же минуту опытным своим глазом успел заметить Сергеич через окно, как вскочил его напарник, выплюнув папиросу, а к калитке подъехал бурый армейский вездеход. Из него уже вылезали, оживленно о чем-то переговариваясь, два офицера и молоденький солдат. Это сын, оказавшийся неподалеку от дома на летних учениях, сговорил двух начальников своих съездить к его родителям попьянствовать. Сергей кошкой метнулся к заднему окну в огороды (он и залезал оттуда) и увидел спешащую между гряд пожилую женщину — это мать солдатика шла кратчайшей дорогой — видно, сын ее предупредил. Сергеич еще успел кинуть на место деньги, поправить столешницу, как была, и влететь в погреб — очень большой, чуть не с целую большую комнату размером и с невообразимым количеством бочек, бочонков, больших бидонов-фляг, банок с вареньем и всякого прочего припаса. А в углу, за высокой россыпью картошки, отыскал Сергеич бочку с солеными огурцами, на которой сидя, голову пригнув, да еще крышку с бочки содрав, чтоб ниже сидеть, становился он незаметен за картофельной горой. Там он и обосновался, проклиная заранее минуту, когда здесь его вот-вот обнаружат.

Все сперва было очень хорошо. Сразу почти выяснилось, во-первых, что в погребе нету света. Когда хозяйка спустилась за закуской, ей присвечивали сверху фонарем, подавали миски, куда она накладывала капусту, грибы, огурцы (из бочонка поблизости, по счастью) и еще Бог знает что, и очень долго. Самогон был явно не в погребе, о чем очень Сергеич сожалел. И немедленно началась пьянка. К вечеру хата была полна людьми, горланили частушки, дробно плясали прямо у Сергеича на голове, пахло жареным мясом. Он покормился тоже всякими подручными соленьями, а вместо воды поел сметаны, прямо рукой ее, как ложкой, аккуратно зачерпывая из фляги. Покурить ему хотелось до умопомрачения, но на это он все же не решился. Хозяйка спускалась в погреб раз пять. Главная опасность была в том, что это каждый раз происходило неожиданно для него, и Сергеич на всякий случай со своей бочки почти не слазил. Он на ней даже вздремнул немного. Ночью все долго расходились, после долго укладывались спать. Загулял по дому ровный храп, показавшийся Сергеичу музыкой. Тут он и хотел было сбежать, но на крышке погреба что-то, видимо, стояло, нажимать сильней он побоялся. И вернулся он на бочку в свой угол. Полуспал, полуждал рассвета, очень боясь прокараулить хозяйку. Не прокараулил. Пьянка началась

опять. Как Сергеич проклинал нарушителей воинской дисциплины! А еще присягу, сволочи, давали, что служить будут честно своей отчизне. На закате стало слышно, что прощаются. Это длилось невыносимо долго. После, громко сказав кому-то, что не будет убираться, пока не кончит в конторе ведомость (молодец, старуха), ушла хозяйка. Чуть задержавшись после нее (не деньги ли проверял?), ушел хозяин. Снова в доме замерли все звуки. Тут Сергеич спокойно вылез, чашку самогона выпил под крутое яйцо (он смотреть уже не мог на соленья), аккуратно разложил по двум карманам пачки денег и ушел к себе в поселок искать напарника, уже голову потерявшего от страха за Сергеича, сгинувшего невозвратно.

В голосе Бездельника было явно слышно разочарование:

— Ну и что, Сергеич, так ты когда же свое счастье испытал — когда деньги, что ли, брал или когда все уехали?

— Э, земляк, да ты не понял, — возразил ему спокойно Сергеич. — Я свое счастье испытал, когда вышел за околицу деревни и в ближайшую первую лужу окунулся голой жопой. Я ведь сутки в рассоле просидел!

— Ах, хороший ты человек, Сергеич, — выговорил Бездельник сквозь общий хохот.

А у Сергеича после этого монолога, самого длинного, что довелось мне от него слышать, что-то, очевидно, оттаяло в заскорузлой его душе, и ему захотелось с кем-нибудь поделиться своим секретом. (Кстати, это жгучее желание поделиться знают и широко используют следователи. Трижды я оказывался в камере с подсадными утками — это только те три раза, конечно, что я знаю с достоверностью, — и всегда неудержимо тянуло поговорить после допроса. Хоть кому-нибудь, но выложиться, утоляя возбуждение после него.) Чтобы повестнуть свою тайную заботу, выбрал Сергеич меня, и это очень мне, признаться, было лестно. Оказалось, потому он торопится на волю, что сестра ему в письме написала, что напарник его по тому делу собирается строить себе дом. А у него, у сукиного сына, денег нету и не было никогда, мужик непутевый, а значит — хочет он пустить на дом деньги Сергеича, давно у него хранившиеся. У сестры нельзя было держать — у родственников, если что, обыск делают немедленно, да и очень пьют они с мужем, вон детей уж отобрать у них грозились.

— Подожди-ка, Сергеич, — сказал я, — разве он не имеет права на их часть? Ведь вместе были.

— Ни на рубль! — с необычной для него горячностью шеп-

тал мне Сергеич, обдавая меня запахом махорки, сала с чесноком и — не буду перечислять букет, ибо не лечат на зонах зубы (выдернуть — пожалуйста). Мы стояли возле биндюги на улице, и вокруг никого не было, но велик был слишком опыт этого человека, и он не мог не понижать голос. Я, не отстраняясь, слушал, я очень польщен был доверием. — Ни на рубль! Он же сбежал, выблядок! Он же меня бросил! Да за это, если б жили в законе, перо полагается! Перо!

— Ну, а что он мог сделать, Сергеич? — спросил я. — Два офицера, сынок этот, да еще шофер, наверно, был. Что он их, по-твоему, раскидал бы, что ли?

— Что угодно мог, — настойчиво шептал Сергеич. — Драку мог с кем-нибудь затеять, а их позвать на помощь с понтом, драку с ними самими мог затеять, чтоб я ушел. За такое знаешь, что делают? — снова сказал он, распаляясь. Но вспомнил, что уже говорил про кару за трусость, и замолчал. Закурил и сказал миролюбиво:

— Тут большая, земляк, выдумка нужна. Вот, к примеру, мы с ним, с этим же, брали магазин небольшой. Так, вроде палатки, но каменный. Аккуратно брали, не на уши ставили, как сопляки, а через ключ. Он, значит, залез искать выручку, они ее куда только не прячут, а я на стреме. Выпил полбутылки, стою гуляю. Вдруг смотрю, а в метрах десяти от магазина начинался скверик, чахлый такой, одна аллейка, вдруг смотрю — прямо на соседнюю скамейку садятся две девки и два солдатика. Что-то, видишь, все мне на солдат не везло. Ну, хихикают там, обжимаются, курят. Что делать? Не прогонишь ведь просто так, с девками они — в морду полезут, а начнется драка — менты объявятся. Это уж как пить дать. А напарнику уже вот-вот вылезать, чувствую, что уже вот-вот. Ну что делать? А я нашелся. Допиваю бутылку, выхожу из-за магазинчика, вынимаю своего шершавого ненаглядного, иду и ссу, да пошатываюсь — с понтом пьяный. И еще напеваю что-то громко, вроде как я Алла Пугачева. Шлюх этих со скамьи как ветром сдуло, понеслись бегом по аллейке. А солдатики, конечно, за ними, только успели мне кулак показать. И тут как раз напарник вылезает. Все в порядке? — говорит. Все в ажуре. А возьми я да слиняй оттуда? Повязали бы его за милую душу. Или растеряйся — то же самое. Нет, я ему ни рубля не дал. И он согласился, между прочим.

Тут за нами прибежал чухан-атасник, нам пора было в столовую обедать. Очень быстро поев, выскочил я из-за стола,

не дожидаясь общей команды, и немедля за углом столовой записал обе истории эти. На клочках бумаги, наскоро, а сейчас в дневник переношу.

Потому что сегодня Сергеич умер. Это неожиданно произошло и мгновенно. Ночью принесли его в санчасть — он валялся в одних трусах возле барака. А врагов у него вовсе не было, наоборот, — его все очень уважали. Умер он от разрыва сердца. Вышел ночью в сортир, не одеваясь (а белье он свое на чай сменял, на две пачки, я это точно знаю), постоял еще потом, покурил, пока холодом не прохватило, повернулся к бараку и упал. На последних месяцах неволи отказало сердце. А всего он отсидел — двадцать два года за три ходки, было ему чуть за пятьдесят. Я стоял над тем местом, где он упал, и отчего-то с ненавистью думал о его не известном мне напарнике, который точно уж теперь построит дом.

* * *

Вообще, тема напарника, соратника, подельника — своего исследователя настоятельно просит, очень яркая открывается в ней картина ненадежности рабского сплочения. Много я повстречал людей, обвиняющих своих подельников в том, что сели. Так как я вторую сторону выслушать не мог, то, во-первых, на собственный случай могу сослаться, когда сразу двое на меня облыжно показали, хоть и не было у них причин на меня злиться — попросили их, обещали скощуху каждому, вот они и потекли. Да притом еще и на суде друг на друга валили не стесняясь, да еще обнаружилось, что обманывали постоянно друг друга, а друзья были — водой не разольешь. А один разговор краткий я бы и приводить не стал, если б его сам не услышал, так походит он на анекдот или байку. Но гуляли мы на прогулочном дворике Волоколамской тюрьмы, а через стену от нас гуляла другая камера. Несмотря на часового, обрывающего вмиг попытки докричаться через стену, ища знакомых (а он там по потолку гуляет, часовой, над нашими головами, и прогулку прекращает, если непорядок), двое друг до друга докричались. Один у нас сидел — по двести шестой третьей, это драка с применением ножа (даже если нож в кармане оставался невытащенным), и перевести это дело в двести шестую вторую, простую то есть хулиганскую драку, — очень важная забота в таком случае. И вот тут из-за стены донеслось:

— Мишка! Ты имей в виду, я нож отшил, больше нету у меня ножа, ты понял?

— Молодец! — закричал наш Мишка. — А как ты сделал?

К нам уже, матерясь, часовой бежал по своим потолочным трапикам.

— Очень просто, — донеслось из-за стены. — Я следователю сказал, что он у тебя был!

Случаям подобным — нет числа. Только об этом — и размышлять не хочется.

* * *

От забора лагерного невдалеке, выбегая на взгорок перед озером-болотом, скатывалась к нему по склону тесно сгрудившаяся молодая поросль тайги. То сплошная серо-синяя зубчатая стена в мрачное утро или пасмурные сумерки, то густочерная при ярком закате из-за взгорка, то желто-зеленая в свете ясного дня, но всегда не очень веселая — странно для молодой рощицы. Или это я так видел ее? Или это сделали с ней тысячи глаз, которые столько лет с тоской смотрели на нее из-за колючей проволоки, что окрасили ее своими чувствами? Не знаю. Только печально выглядел этот видимый нам кусочек воли. Даже когда падал снег и пушистые кристаллики его делали лагерный плац в свете прожекторов похожим на катки нашего детства, роща эта ничуть не оживлялась. То ли был тому причиной вросший в землю сарай овощехранилища, всем своим унылым видом повествующий о мерзлой гнилой картошке? Или мешали запахи лагерных помоек, стоявших там же, откуда мы смотрели на волю? Нет, конечно, это мы были повинны в жалком виде рощицы, очень мы уж часто там стояли, глядя на нее.

И сегодня вот Бездельник мрачен был и сосредоточен, где-то далеко в себе затаен. Хотя только что получил письмо от друзей, заверяющих его, что семья в порядке и что все на воле помнят его, любят и ждут.

— Просто думаю, — ответил он на наш вопрос о его замкнутости. — О жизни своей могу подумать хоть изредка?

— Может быть, вы обозлились или обиду таите? — елейным голосом спросил у него Писатель. То была у нас давнишняя игра — с той поры, как мы обнаружили, что любой из наших воспитателей это спрашивает. Что ли у них инструкция

была такая, или лекцию читали им о психологии заключенного. Притом в самом вопросе этом замечательная идея таилась: тот, кто обозлился или обиделся — тот пока еще преступник и враг, перевоспитание его должно продолжаться, а меры по возможности усилены. Очевидно, идеально раскаявшийся, вновь годящийся в советские люди зек должен был все забыть и ощущать только собственную вину в смеси с благодарностью за оказанное милосердие. Обиженный или обозленный — в состоянии измыслить что-нибудь непотребное и вражеское, такого желательно додавить. Разумеется, не находилось ни одного среди нас, затаившего злость или обиду, все были в восторге от законности и справедливости, помышляли исключительно об искуплении вины за содеянное и безмерно радовали этим сердца психологов в сапогах и погонах. Хотя я лично — ни одного не только раскаявшегося, даже сожалеющего о сделанном не встретил. Правда, среди убийц один был, кто ответил на мой вопрос утвердительно. Он жалел. Удивившись, я расспросил подробней. Он жалел, что убил в давней драке ("замочил на глушняк" — именуется убийство на фене) только соседа своего, а двоюродного брата — не тронул, а то бы ни одного свидетеля не было, а этот брат — сдал его, паразит. Жалели все только, что попадались. Но понт есть понт.

— Что вы, гражданин начальник, — послушно откликнулся Бездельник. — Какая может быть обида? Сам во всем виноват. Оступился просто. Лошадь — о четырех ногах, и та спотыкается. Еще и осудили по-божески, спасибо сердечное.

— Почему же вы тогда хмуритесь, будто недовольны чем?

— Зануда я, пессимист, желудок побаливает, — с таким чистосердечием и тупой искренностью ответил Бездельник, что нельзя было не порадоваться, как твердо встал он на путь исправления, этот закоренелый преступник.

— Вспомнил я, братцы, хорошую историю, уж не знаю, правдошняя или нет, — сказал Писатель, тоном обозначив, что подражать нашим пастырям перестал. — Говорят, была она с поэтом Долматовским. Неважно, в Москве это было или в Тбилиси, но подошел к нему старый грузинский поэт и говорит ему: слушай, дорогой, ты английского поэта Байрона знаешь? Знаю, отвечает Долматовский, как же мне его не знать, читал, конечно. Лорд был, происхождение замечательно высокое, голубая кровь по жилам текла — знаешь? — наседает на него грузин. Знаю, говорит Долматовский. Собой красавец был, женщины с ума сходили, умница был, образованный, поэт гени-

альный — знаешь? — говорит грузин. Знаю, отвечает Долматовский, вы к чему это? А богатый был, ни в чем не нуждался, все имел — знаешь это? — спрашивает грузин. Знаю, знаю все это, отвечает Долматовский нетерпеливо. А если знаешь, тогда скажи мне, говорит грузин, почему он, Байрон, при всем том, что ему дано было и что имел, был пессимистом, а ты, говно такое, — оптимист?

Закурили.

— Нет, сейчас никак нельзя быть пессимистом, — сказал Писатель. — Больно время безнадежное, сейчас нельзя.

Бездельник засмеялся одобрительно.

— Не могу только понять, на чем все это держится, — сказал Писатель. — Ну на силе, ну на страхе, разумеется, ну на круговой поруке. А еще?

— Разве ты не видишь, на чем еще? — сказал Деляга. — Посмотри-ка!

За колючей проволокой, окружавшей зону, шла контрольно-следовая полоса — уж не знаю, так ли она здесь называется, как на границе, эта трехметровой ширины полоса вспаханной земли, за которой шел второй забор, на том уже была сигнализация. В случае побега на полосе этой неминуемой оставались следы. Вспахивали ее заново, освежали рыхлость почти ежедневно. И сейчас по ней шли, впрягшись в борону, как лошади, три зека. От напряжения по-бурлацки нагибаясь вперед, они тащили борону, вспахивая землю, а от них сбоку, по тропинке узенькой, шел надзиратель-прапорщик и три запасных зека на подсменку. Много было на зоне разговоров о том, что все мы делаем сами — и огораживаем себя, и сигнализацию тянем (говорят, что изобрел ее — тоже зек еще в когдатошние времена), и словами "а куда денешься?" заканчивался каждый такой диспут.

— Нет, я не об этих ребятах, здесь-то куда денешься. И не о тех миллионах, что работают, чтобы есть и пить. С ними чтоб управиться, страха и еды достаточно. Только держится все это вовсе не на них.

Мы молчали, глядя на тянувших борону, а Деляга продолжал возбужденно:

— Не спешите посчитать меня идиотом, только держится это все на эксплуатации природы. Не пугайтесь, я не о добыче всякой нефти и угля с железом, я о человеческой природе. Правда, правда. Помните, кто-то из крупных физиков шутил, что не понимает, мол, за что им платят деньги, они бы и бес-

платно работали. И еще тут одна деталь — помимо денег, — что неважно еще, над чем работать, каков и для чего годится результат. Эта страсть к познанию и творчеству — жуткая, ребята, штука. И еще одна страсть, не меньшая — выкладываться на всю катушку. Для собственного ощущения жизни. И чтобы другие уважали. Не начальство, не надзиратели, а конкретные, кто рядом, лица: Иван Петрович, Васька Свистов, Семен Исаакович. И неохота их подвести, если они за тебя в ответе, — тоже фактор. Наши живые душевные связи — тоже ведь природа человеческая. Кто головой, а кто руками. Да еще все — в разной области. А те, кто головой работает — самые сегодня золотоносные рудники. Потому как век науки и техники. Здоровенный, к примеру, мужик рослый. Нет, он и пахать бы мог, и стрелять, и бревна обтесывать. Но его учили в школе, и он наткнулся на химию. Почему это, он и сам не знает, но с ума сходит от счастья, смешивая, доливая, соединяя, нагревая, охлаждая и так далее. Годам к тридцати оказывается, что весь его свет в окошке и весь смысл его жизни — в получении какой-нибудь прозрачной мерзко пахнущей массы, которая, когда затвердеет, то ее кувалдой не разбить. Почему это с ним случилось, отчего все его жизненные вожделения слились в одну линию, он и сам объяснить не может. Охота. Интересно. Хлебом не корми. Нет, кормить надо, но ему хватает крошек. И на что это все пойдет, он тоже не думает. Нет, пожалуй, — думает. На какие-нибудь потрясающие новые дома. Или мосты. Или туннели. Да хоть на саран. Э, ему говорят, и на самолеты, и на танки это тоже пригодится. Даже на подводные лодки. Здорово! И морда его сияет, и плевать ему, от имени какой империи эти самолеты повиснут в воздухе и куда эти лодки поплывут. И ему почти безразлично, что он, в сущности, уже давно живет в лагере, работает в шарашке, получает пайку, и черт знает что делают в мире его прекрасные творения. А у него-то ведь еще и баба есть, и дети есть, и квартира какая-никакая — счастье. Предположим, правда, он прозрел, это нынче со многими происходит. А чем кормиться? В плотники уйти принципиально? Так ведь, во-первых, плотник из него херовый, пайка сильно меньше будет, главное же — высохнет от тоски по колбочкам своим и растворам. Потому что такова его природа, он был создан для своей работы. Остается из этого колодца только качать и качать, что империя исправно и делает. Они ведь, бедолаги способные, они сами себе еще и снабженцы: все клянут, на чем

свет стоит, а вертятся, как угорелые, чтобы свои идеи проверить, свои опыты поставить, выложиться и воплотиться. Вокруг них бездарностям благодать, бездари цветут и пахнут, бездари общественной работой занимаются, то есть пирог общественный с разных сторон покусывают, кто как может, притом доносы строчат друг на друга, свары затевают, кресла делят и премии. В науке тоже ведь — своя обслуга, свои придурки, свои надзиратели. Бедолаге тоже достаются крохи, но ему ведь много и не надо.

Деляга чуть вздохнул, остывая, но тут же спохватился, что не закончил.

— А давайте спустимся пониже, пожалуйста. Инженеров возьмем на производстве. Кто из них поспособнее, — механизм их психологии тот же самый, творческий механизм, им только и надо, как коровам, — чтоб их доили. Они и мычат так же жалобно, когда хозяева бестолковые, они мечутся, чтобы их подоили, ищут. А разве рабочего только жажда заработать подгоняет? — нет, это вовсе не главный стимулятор, пайку свою он ненамного увеличить в состоянии, главное — что люди вокруг, а с людьми какие-то отношения, и ему на работу если и плевать, то на окружающих ему никак не плевать, без них наша жизнь — не в жизнь, мы на то и люди, вот и пляшем на этих ниточках. Чтобы выйти в конце концов на нищенскую пенсию. Вот на этой нашей природе все и держится.

Тут Деляга махнул рукой, он еще так долго никогда не говорил, а я смотрел вслед боронящим, не отрываясь. Может быть, мне сейчас казалось это, но похоже — молодые ребята-зеки так не горбились напряженно и тяжело, лица их не заливал уже пот; словно втянувшись в слаженное усилие, обретя единую тягу, они шли ровно и споро, и физическая нагрузка чуть ли не удовольствие доставляла сейчас их сыгравшимся утроенным мышцам. Один из них, полуобернувшись, сказал что-то прапорщику, и все они загоготали негромко, и, словно продолжая шутку или отвечая на нее, прапор ногой поджал борону поглубже, и они шли, оставляя за собой свежую полосу вспаханной земли, их же охраняющей от побега. А запасные остановились закурить, прикурил у них и толстый прапорщик, и один из запасных, сделав две-три быстрых затяжки, ловко всунул папиросу в губы крайнего пристяжного, и вся дружная группа эта двинулась вдоль полосы дальше.

Я подумал вдруг, что и сам прекрасно знаю это чувство, что в запале труда и душевной разогретости от него все рав-

ио стаиовится, с кем перекурить или перекииуться легким словом. Мие представилось на мгновеиие гигантское, разве что во сие обозримое простраиство, на котором повсюду люди, веселея и теплея от удачио и дружио совершаемого труда, остаиавливаются на короткое время, чтобы с охотой и доброжелательством перекурить с иапариком и охраной. Зябко мие стало и страшно от этого мгиовенного миража. То же самое, иаверное, ощутив, Бездельник сказал иегромко:

— Вот из этого-то общего ритма мие и захотелось выпасть. Любой ценой. Авось ие усохиу — а, Деляга? Найду чем увлажнить свою душу.

От последией этой фразы его и пошел, возможио, тот иесвязный разговор, что случился в тот же день у иас вечером.

* * *

— Нет, — сказал Бездельник убеждеиио, — пьют совсем ие только по традиции российской и не оттого, что с детства приучаются. Я увереи, что ие только поэтому.

— Можно перебью? — сказал Писатель. — Когда я писал книги о иауке, то иаткиулся иа опыты американцев, которые и у иас одии шальиой психиатр воспроизвел. Они отобрали крыс, которые даже в крайией жажде ие прикасались к слабому раствору спирта. Крысы вообще алкоголь ие пьют, а тут отобрали иаиболее склоииых к трезвости. И стали причииять им всякие иеприятиости — по крысиным, разумеется, поиятиям. Током их били неожиданно, обливали вдруг кипятком, проваливались оии внезапно в густую краску и все прочее в разном ассортимеите. А остальное было благополучно: еда в достатке, самок всем хватало, живи и радуйся. Но все время висело ожидание какой-то пакости, отчего тревога и опасливость завелись в крысиных душах. И что вы думаете, братцы? Стали они пить алкоголь, причем уже его предпочитали, а ие теплое, к примеру, молоко или мясиой бульон. Здесь, может быть, ключ к пьяиству? Неуверенность наша в завтрашнем дне, зыбкость иашего существования. Не похоже?

— Зря ты меия перебил, — сказал Бездельник, — с тобой хорошо говио есть, ты изо рта выхватываешь. Вполне мы в своем завтрашием дие увереиы, пайку свою лагериую иа свободе ты всегда заработаешь, и неприятиостей всяких тоже у тихого обывателя ие так уж миого. А ои пьет и пьет между тем.

— Как чайка, — сказал Деляга. Здесь почему-то приият этот образ: пьет, как чайка, даже и ие знаю, откуда ои возиик.

— Как чайка, — подтвердил Бездельиик. — А почему?

— От беспросветиости своего тусклого существоваиия, отсутствия всякнх перспектив, от иеожидаиия перемеи, — упрямо сказал Писатель.

— Ближе, но чересчур иаучио, — отказался Бездельник, — и ие буду вас томить, мужики, потому что знаю иечто вроде истииы. Причем — для большииства пьющих.

— Так это тогда открытие, — сказал Деляга.

— К сожалеиию, иет, — поскромиичал Бездельиик, — очень расплывчатое у меня объясиеиие. Вроде иекой духовной субстаиции, коя в иашей жизии отсутствует. Вроде витамииа необходимого, а его мы выпивкой замеияем.

— Не тяии, — сказал Писатель.

— У меия ведь байка просто, — пожал плечами Бездельиик, — да и тут я за правдивость не ручаюсь. Одии приятель рассказал как-то. А ои поэт, ему иикак иельзя верить полностью. А смысл в ней есть.

Мы закурили.

— Зиачит, так, — сказал Бездельиик со вкусом, — жил в коице прошлого века где-то в малеиьком местечке неудачливый еврей аптекарь Меер. Покупали у иего совсем мало, ие было у евреев денег иа лекарства, так что целыми диями толклись у иего в аптеке приятели, болтая о всякой всячиие и причииах еврейскнх цоресов. Ои был тип общительиый, этот Меер, и иеглупый, так что клуб у иего в аптеке ие слабей был, чем возле сииагоги. Но кормить ему семью было трудно, и решил ои поехать искать счастья. Продал за гроши свою аптеку и собрался в Америку со всей своей семьей — туда миогие в те годы подавались.

А в Амернке он аптеку уже купить ие смог, отчего и стал портным. Но только был он, я напомииаю, иеудачииком. И портным стал очеиь иеважиым. И иастолько свое портиовство запустил, что даже иожиицы у иего затупились и были в зазубрииах сплошиых. Ои их даже расцепить ие смог одиажды, так цеплялись зазубриив за зазубрину. Силой нх расцепив, сиова сведя и снова расцепнв, посмотрев иа иих с печалью и прозреиием, этот Меер изобрел застежку-молиию. Где, как вы помиите, все как раз н сделаио из аккуратных зазубрни, и одиа в другую прекрасио входят. Ои свою идею запатеитовал, мол-

ния вошла в бешеную моду, куда там джинсам нынешним, и Меер оказался миллионером. Только тут история и начинается: он стал думать, во что ему вложить полученные деньги. Кто советовал в торговлю, кто советовал в рудники, кто советовал спрятать, — там, где три еврея собрались, будет не менее тридцати противоречивых советов, каждый из которых — от всего ума и сердца. Но у Меера была и собственная голова. И он вспомнил, как, толкаясь в его аптеке, все евреи говорили одно и то же: Меер, говорили они, ты бы дал нам что-нибудь от тоски, мы бы с себя последнее сняли, Меер, за такое лекарство. И он рискнул, это вспомнив, он все деньги свои вложил в лекарство от тоски, только-только открывались первые фабрики этого лекарства, он ужасно рисковал, но он выиграл.

— Ты о чем? — спросил Деляга недоуменно.

— Он в кинематограф их вложил, — сказал Бездельник. — В начинающий. Так и появилась знаменитая кинофирма "Метро Голдвин Мейер" — слышали наверняка и видели.

— Здорово, — сказал Писатель. — Даже если все неправда. Ведь и впрямь — лекарство от тоски.

— Только я хотел бы уточнить, вовсе вас не подозревая в скудоумии, — сказал Бездельник, очень явно от истории вдохновившись, — что тоска у человека — от Бога, она назначена Богом человеку, она повсюдная и вселенская, эта тоска, только у нас от нее совершенно нет лекарств, оттого у нас и пьют больше всех. Не согласны вы с тем, что нет лекарств?

— Жульничаешь ты слегка, Бездельник, — заупрямился Писатель. — Передергиваешь. Те причины пьянства, что я назвал, тоже ведь работают безусловно.

— Да пожалуйста, — сказал Бездельник. — У тоски нашей — десятки причин. Витаминов от нее у нас меньше, а лекарства — почти вовсе нет, чтоб ее ослабить, предотвратить или заглушить. А перспективы, надежды, возможности — это ведь тоже витамины. Вот о чем я...

И тут я вспомнил. Давно это хотел записать. Очень прямо это к тоске относилось. К нашей зековской, невольничьей, безнадежно безвыходной тоске. И поэтому я бросил разговоры, торопясь, пока охота, к дневнику. Вспомнил я мужика одного, каждые полчаса монотонно повторявшего вслух "Тоска!" и опять замолкавшего опустошенно. Я в штрафном изоляторе с ним сидел.

* * *

В наш штрафной изолятор ничего не стоило попасть, до пятнадцати суток срок давался: за расстегнутую пуговицу на одежде, за небритость или нестриженность, за водку или карты, за найденные утаенные деньги, за коллективную драку, по доносу. Даже и такой был параграф: "За угрожающий взгляд в сторону офицера, проходящего по плацу". Я таких, правда, не видел — рассказывали. Но глаза у нас у всех такие здесь, что наш взгляд легко истолковать как угодно. Лично я трое суток просидел, не зная, за что торчу, и меня даже вытащить пытался один начальник, только никто моей причины не знал. Но вернулся с охоты наш заместитель по режиму капитан Овчинников, сразу дернули меня к нему наверх, и он сказал с похмельной угрюмостью:

— Почему ты, сукин сын, такие письма своей теще пишешь, что я понять их не могу?

— Я не знаю, гражданин начальник, — отвечал я скромно и даже радостно (хоть какая-то определенность, наконец, и вина, похоже, очень небольшая — отпустят, может быть), — ничего там вроде непонятного. Теща у меня образованная, я стараюсь ей как-нибудь поинтересней написать, что в газете, к примеру, прочитал в литературной, что об этом думаю. И все вроде.

Мелко и мерзко в это время, не могу не заметить, у меня тряслись поджилки. Очень уж не хотелось возвращаться в изолятор.

— Ну иди, — сказал Овчинников. — И не о теще своей думай, а как тут выжить. Понял ты меня?

Я понял. В изоляторе нас кормили горячим через день, а еда — специальная для шизо и бура (в бур на полгода опускают, это тоже заслужить легко, ибо есть формулировка такая — "за систему нарушений", то есть за несколько мелких, но подряд, а учитывая, что подвал этот — в болотной почве, неминуемы легочные осложнения, многих проводили мы на этап до Красноярской лагерной больницы, где лежат туберкулезные из разных зон). Только желтоватую эту воду без жира и с тремя капустными лепестками (значит, щи сегодня варили наверху) и ложку жидкой каши ели мы с таким наслаждением, что любой пресыщенный гурман позавидовал бы нашему блаженству. Торопливо, друг на друга не глядя, чавкая и захлебываясь, пили мы из мисок своих — ложек вообще нам не давали — наше пойло,

и нигде не был так сочен и прекрасен глинистый грубый хлеб. (Не могу себе представить муку, из которой выпекают этот хлеб. Цвет его, вкус, жидкая вязкость — удивительное нужно мастерство, чтобы сделать такое из зерна.) А в пролетный, некормежный день — дается к хлебу миска теплой воды (одна), и мы пили из нее по очереди, жадно и вежливо передавая друг другу. О параше, о клопах, о вшах зря писать не стоит, равно как о духоте (зимой — о холоде) и смраде. Это дела житейские, разве что клопы меня поразили, я их столько никогда не видел, — муравьи так кишат на муравейнике, если потревожить его верхушку. А в шизо — если прилечь на миг. А прилечь все время хочется в шизо, да и невозможно не прилечь. Привыкаешь. Но зато — какое чудо! — вдруг окликнули меня откуда-то из-за стены, и в отверстие (глазу незаметное) вдруг просунулась тоненькая лучинка. Потяни! — я потянул ее, а на конце ее проволокой была привязана тряпица, а в ней тлела уже ополовиненная сигарета. Что было за наслаждение — затянуться! И от заботы этой дружеской, вот уж не ожидал, у меня глаза повлажнели.

С месяц тому назад они влажнели у меня, только по другой причине. Я в санчасти был как раз, когда подняли двух ребят из бура. Одного — из-за сердечного приступа, а второго — чтобы просто отдышался. Потому что он, отсидев полгода и всего дней двадцать побыв на зоне (она раем кажется после бура, потому что воздух, еда, пространство), снова был опущен на полгода — с кем-то счеты поторопился свести. Видел я, как они шли по коридору — того, что с сердцем, под руки вели, а второй шел сам, но пошатывался, ступал нетвердо, словно выпил, но старается не показать. Сели они на отведенные им кровати, серо-желтые, но улыбаются блаженно. А в окно санчасти — в кухне окно такое было — через десять минут уже совали для них консервы, конфеты, курево — у кого что было из приятелей. Принесли даже полпачки кофе и пачку сигарет с фильтром — запрещенные на зоне продукты, явно из блатной контрабанды. Через купленных прапорщиков доставляли, через учителей школы, через расконвоированных зеков и шоферов, завозящих на промзону лес. Сразу им стали греть еду, а атасника выставить — забыли. И явился вдруг начальник изолятора — молодой худой лейтенант, щеголевато ходивший всюду в штатском. Обожал он такие игры. Вообще, офицеры даже в выходные, бросив семьи свои, водку и телевизоры, появлялись постоянно на зоне. Чтобы вдохнуть, похоже, запах

власти, упоительно их щекочущий изнутри. Этот же, хлыщеватый и подтянутый, непрерывно всюду возникал — он очень любил, чуть приплясывая, пройтись позади строя зеков на проверке (дважды в день) и за нечищенные сапоги съездить по уху кого-нибудь, пошутив, что ждет его в изоляторе.

Он, войдя, сразу к тумбочке направился, для того он и пришел сюда.

— Кофе, — приговаривал он ласково, вынимая припасы, — сигареты с фильтром, конфеты шоколадные в обертке.

Мы стояли молча, и никто из нас не возразил, когда он даже разрешенный на зоне чай забрал, и эти двое из бура тоже сидели молча.

— Ну, идемте, — дружелюбно и бодро сказал он. — Долечиваться будете в изоляторе.

И они, только вдохнувшие воздуха, а главное — уже успевшие обрадоваться ему, встали и пошли обратно.

И так страшно было вслед им смотреть, и такая бессильная ненависть вдруг застлала мне глаза, что опомнился я и спохватился, когда кто-то толкнул меня и сказал:

— Вытри слезы, ты ж не баба, Мироныч.

Сигареты с фильтрами запрещены в тюрьме и на зоне, потому что фильтр этот, если подержать под ним огонь, расплавится, помягчеет, а потом застынет в любой форме, из него легко сделать плоское подобие ножа и неровным острием этим вскрыть себе вены, если решил. Случаев таких было много.

Именно в шизо и в буре в основном (и в тюрьмах-крытках) совершают зеки поступки, непонятные здравому рассудку, находя в них средство от тоски. Глотают костяшки домино, ложки, пуговицы, иголки, шахматные фигуры — и не одну. И не для того, чтобы попасть в больницу и передохнуть от лагерного труда — такое тоже бывает целью, но главным образом (как я понял, расспрашивая делавших такое) — чтобы досадить надзирателям и начальству. Безусловная, очевидная глупость — с неизбежностью еще мучительной операции, но в шизо и в буре куда-то утекает здравый смысл. И накатывается, как умопомрачение: вопреки бессилию своему сделать что-нибудь из ряда вон — и немедленно — возражающее этому бессилию. Острая жажда доказать, что ты хотя бы над самим собою властен, и таким вот образом от смертельной тоски уйти — кажется мне главной побудительной причиной совершенно необъяснимых самокалечений. И вскрывают себе вены "крестом" — на обеих руках и ногах одновременно, и с размаху полощут себя бритвой

по животу (видел я у двоих рубцы, оставшиеся от такого способа заявить себя и свой протест), и глотают черт-те что — что попадется. А в милиции, в камере предварительиого заключеиия я тогда еще сидел, мой сосед по иарам, ждавший уже пятого суда в своей жизни (двадцать лет провел в лагерях), рассказал мие, как оии когда-то целой камерой (десять человек) прибили себе к иарам мошонки и сидели иесколько часов, как бабочки иа иглах эитомолога (это его сравнение, очень был иачитан за те годы, что пробыл в иеволе), ожидая, когда явится иачальиик тюрьмы, специально к иим ие шедший, хотя зиал.

— А чего вы добивались? — это я у каждого такого спрашивал.

— А уже ие помию даже точио. Чепухи какой-то. Кажется, нас прогулки лишили за игру после отбоя в шахматы. Или отобрали просто шахматы за это, иет, не помню, ио одио из этих двух.

И так отвечали все. Из-за мелочи, по пустяку, иипочему. Чаша переполиилась. Тоска. Зато вот что я могу — получайте.

— Ну и что? Добились своего? — это я иастырио спрашивал у всех. И ответ был у всех одии и тот же: иет, коиечио, зашили и обратно в камеру. Да еще и били иекоторых — чтобы ие беспокоили зазря и чтобы впредь иеповадио было.

Нету смысла, иет резоиа, иепоиятио. Для любого, кроме тех, кто виутри. Тем, кто сидел, оио знакомо, такое чувство. Хоть отчасти, но убеждеи, что зиакомо. Стародавияя шутка вспомииается: "Пойду выколю себе глаз, пусть у моей тещи будет зять кривой". Чтобы ей было стыдио и иеспокойио, этой пресловутой Вечиой Теще. Думаю, что логику подобиой мести поияли бы те, кто вскрывал себе веиы в шизо.

Я до полиоты такой тоски ие доходил.

ГЛАВА 8

А икоиы Деляга иачал собирать вскоре после смерти матери. Умирала она долго и тяжело, умирала, ие приходя три дия в созиаиие, под уколами поитапоиа, который ей колола, приезжая по вызову, иеотложка, а уже метастазы от рака почки были у иее и в легких, и еще иеизвестио где. И оиа кричала от боли последний месяц, а потом, после укола, стоиала только иегромко. От растеряииости и горя иичего почти ие соображал отец, и весь дом держался иа спокойиой твердости Деляги. А потом, когда мать уже умерла после дикой, почти сутки длившейся агонии, надо было оформлять похороиы, хлопотать о помииках и все время быть возле отца. И Деляга все это успевал и спокоеи был так, что казался равиодушиым к смерти матери и его за это осуждала, кажется, миогочислеииая приехавшая родня. А чего ему это стоило, стало ясио спустя месяц, когда вдруг его оставили силы и апатия, вялость и безволие завладели им иастолько, что зиакомый врач прописал разумиейшее средство: покататься где-иибудь иа лыжах иеделю и от дома полиостью отключиться. Так ои и попал в подмосковную деревию, где жила иеподалеку в доме отдыха старая одиа его приятельиица. Пил коиьяк и водку, смотрел киио, миого спал в избе за печкой, где сиял угол, а на лыжах не катался совсем, ио гулял по засиежеииому лесу и действительио пришел в себя через иеделю. А в последиий деиь перед отъездом ои бродил бездумио по деревие, стаиовящейся летом дачей, отчего благополучные и ухожеииые были в ией все дома — и обратил внимаиие иа полувросший в землю домишко. Так разительно отличалась эта запущеииая ветхая изба от добротных и щеголеватых домов вокруг, что решил ои зайти и посмотреть, иа каком же уровие полы в этой хатке, если подслеповатые окиа ее иачииались почти сразу от земли.

После стука вмиг послышался за дверью разиоголосый собачий лай, и старушка, столь же ветхая, как ее дом, открыла дверь, отпихивая иогой и отгоияя окриком целую свору разиой

мастн неказистых дворняжек. Не придумавшнй что сказать, попросил Деляга воды, н старушка провела его сквозь темные сенн и собачнй неумолкающнй строй в крохотную полутемную комнату. Отчего-то она была круглой, эта черностенная комната, и такой же был черный, округло в стены переходящий потолок, и горела посреди кероснНка — освещение и согрев одновременно, нбо и печи тоже не было видно в комнате. Все это разглядывал Деляга, забыв уровень пола посмотреть, хоть н пришел за этнм, а старушка уже юркнула в дверь обратно н вернулась очень быстро, неся в стакане воду и стакан даже на блюдечко поставнв. А пока Деляга пил неторопливо, ласковым быстрым говорком повестнула ему старушка, что "воспнтывает" всех бездомных покалеченных собак, н уже их у нее двенадцать, сил мало, но делать нечего. И что пенсию она получает — восемь рублей в месяц всего, потому что всю свою жнзнь работала в заваляшем колхозе, где платилн за трудодни одни копейки, вот н не выгорела ей прилнчная пенсия. Цифру эту — восемь рублей — услышав, просто похолодел Деляга, потому что на один лишь хлеб должно было хватать в обрез. Как н большинство жнтелей города, ннкогда он не задумывался над тем, какую пенсию получают в деревиях старнки, вытянувшне на себе все военные и послевоенные годы, жнвшне впроголодь среди щедрой землн, на самих себе в войну пахавшие, нбо не было нн тракторов, ни скотины, н работавшие от темна до темна. Пенсня ведь от былого дохода начислялась, а у нихто как раз, вытянувших страну, его н не было.

— Вообще, — вдруг сказал Бездельннк угрюмо, — о стране надо судить не по спутннкам, а по пенсиям старнкам н ннвалидам.

— Погоди, — сказал Пнсатель, — дай дорассказать. — Она, кстатн, потом стала двадцать получать, увелнчилн мнннмальный размер.

— Еслн дожила, — буркнул Бездельннк.

У Делягн оставалось еще двадцать пять рублей, он бумажку эту вытащил н протянул старухе.

— Что ты, милый человек, — она надменно поджала тонкне сморщенные губы, — я тебе рассказывала не для подаяння, а просто так.

— Бабушка, — сказал Деляга, — я нх все равно пропью, возьмнте вы хоть на собачек, не побрезгуйте. Честное слово, у меня в Москве есть на что жнть.

Это почему-то убедило старушку, н лнцо ее сморщилось в один улыбчивый благодарственный комок.

— Ну, спасибо тебе, — сказала оиа, бережио прииимая бумажку, — дай тебе Бог здоровья... Зиаешь, погоди-кось уходить, я тебя, сыиок, благословлю.

И тут иачало совершаться удивительиое: старуха всуиула руку прямо в чериую стену, и стеиа податливо раздвииулась, образовав упругую щель. Только тут Деляга разглядел, в чем секрет округлости избы, и иа ум ему, закосиелому городскому жителю, перво-наперво явилась мысль, что иеплохо бы такой иитерьер — в мультфильм про Бабу-Ягу. Вся комиата, включая потолок, была заткаиа миоголетией паутииой, образовавшей уже не сетку, а сплошную пленку. На паутине этой миогими годами оседала копоть от керосинки, и теперь убогая комиата была заткаиа чериой пелеиой, словно чериым шелком — будуар какойиибудь графиии. А в щели, обиажившей угол, тускло замерцало иесколько киотов с икоиами. Одиу из них старушка вытащила и, бережно стерев копоть и грязь с поверхиости доски, подала ее Деляге. На память. В благодариость и благословеиие.

Деляга икону взял. Была оиа иестарого письма, ярко горели краски иа золоте — церковь, какие-то святые, облака и Богородица иад иими. После ои узнал и сюжет — незамысловатый, очеиь праздничиый и распространеииый. Это был "Покров Святой Богородицы", или "Видеиие Покрова", что одио и то же.

Нет, иикогда ранее Деляга икоиами ие увлекался. У зиакомых своих встречал ои в домах иконы, часто они были предметом гордости хозяев, их показывали и про них рассказывали что-то. Все это как-то раиьше проходило мимо иего, ие задевая. Мимо глаз, мимо ушей, мимо виимаиия.

А тогда, вериувшись в Москву, он вдруг с удивлеиием обнаружил, что, повесив икоиу эту, постояиио любуется ей, а главное — ему хочется повесить еще. И ужасио стало иитересио, какие у других висят и что на их изображеио. С иекоторым смущением узиал он, что уже давиым-давио собирает икоиы масса самых разиых людей, что вовсю спекулируют икоииой живописью, что его зиакомые миогие ездят искать икоиы по деревиям, забираясь по возможиости в глухомаиь. Совершенно искреиеи был Деляга, а ему иикто ие верил, что случайио и иеожиданно овладела им эта страсть, что действительно ранее иичего ие зиал ои об этом давием, как оказалось, поветрии. Да и впрямь было трудно ему верить, потому что случилось это с ним в самом-самом иачале шестьдесят девятого, а уже лет десять, если ие более, помирали от виезапио вспыхиувшей любви к икоиописи — коллекциоиеры, художиики, спекуляиты, иио-

странцы, физики, гуманитарии всех мастей и, конечно же, зубные врачи и гинекологи, ибо иконы стоили очень дорого.

Несколько лет спустя, став уже заядлым коллекционером, разговаривал Деляга с одним художником, человеком очень умным, что среди художников нечасто, ибо разные, очевидно, области мозга заведуют пластической одаренностью и рациональным разумом и одна, как правило, развивается в ущерб другой.

Но это был действительно способный очень художник, да притом еще и склонный (не без данных для этого) поразмышлять над виденным и слышанным. Кстати — в подтверждение вышесказанного, — признавая сам, что рисовать ему это здорово мешает. Словом, попытались они перечислить те пружины, причины и мотивы, что такую разожгли у многих любовь к позабытой напрочь, еще вчера гонимой и палимой, заброшенной древнерусской живописи.

Только не о качестве ее высочайшем они говорили и не о вспыхнувшем интересе к истории, так оболганной, что всем уже хотелось разобраться, и не о патриотизме, чуть пока квасном, как и всякое чувство, оживающее, перестав быть каменно казенным, нет — перечисляли они просто мотивы, по которым иконы стали собирать.

Ну, любовь, конечно, к живописи в чистом виде — первая и небольшая сравнительно часть собирателей. Мода — очень большая часть. Престиж — тут и следование моде, конечно, только выбор важен, что собирать (можно ведь и спичечные этикетки), ибо самый выбор говорит о желании следовать моде с ароматом наибольшей духовности. Просто хобби — было, в общем, человеку все равно, что собирать, но наткнулся именно на иконы. Вкладывание денег, конечно. Не случайно ведь среди собирателей столько частно практикующих врачей, преуспевающих адвокатов и людей, уклончиво и неохотно обсуждающих источники своих доходов.

Тут они помолчали оба, раздумывая, что еще за мотивы существуют, и художник выдвинул идею такую, что Деляга задохнулся от зависти, что не догадался сам.

Поскольку, сказал художник рассудительно, среди любителей икон полно евреев, то не является ли для евреев собирательство икон — воплощением (неосознанным, конечно) тяги их к русской культуре, которая отвергает их любовь и отторгает их от себя? Это тоже порешили считать отдельным пунктом.

Здесь прервусь я, и скорей всего — надолго. Объявили общелагерный шмон. Это значит, что две тысячи человек будут

мерзнуть на улице несколько часов, покуда наши воспитатели ищут в бараках водку, ножи, самоделки всякие и запретные продукты. Забирая попутно книги и любое разное, что приглянется им из нехитрого нашего барахла.

* * *

Чифирили в очень узком кругу. Может быть, поэтому получился интересный разговор, его вполне можно считать научным семинаром по психологии. Тем более, что первую историю именно о семинаре (или симпозиуме, уже не помню) рассказал Писатель. Я-то чувствовал, что он ее для затравки вспоминает, он умышленно так делал, чтобы подогреть у каждого собственное желание что-нибудь рассказать, и это срабатывало часто.

— Я однажды случайно как-то, — начал неторопливо Писатель, — попал в Кярику, это в Эстонии маленький то ли поселок, то ли городок. Там спортлагерь Тартуского университета, в нем очень часто всякие научные курултаи и сабантуи проводятся, — всяко их называют, а в конце у всех — банкет с обильной выпивкой. А тогда собрались ученые по социальной психологии, я как раз ей очень интересовался, потому что книжку писал. Дай, думаю, поеду — послушаю, что специалисты болтают, — наука темная, а у наших тем более рот наполовину заткнут, потому что множество запретных тем — интересно, как они выкручиваются друг перед другом — со стыдом врут или уже привыкли. Пригласил меня приятель, только строго-настрого предупредил, что они журналистов не пускают, пусть я как-нибудь затаю свою профессию. Обещал я. С этого все и закрутилось. В зале для баскетбола выставили в ряд столы из-под настольного тенниса, сели мы за них, человек под шестьдесят, встает кто-то почтенный и предлагает: пусть, поскольку мы не все знакомы, каждый скажет, чем он занимается, и тогда мы сможем общаться сообразно взаимным интересам, для чего после такой переклички специально устроим перерыв. Ну а мне-то, думаю, как себя обозначить, чтобы и приятеля не подвести, и лицом в грязь не ударить? Пока думал, очередь доходит до меня. Я встаю и говорю, что питаю интерес к вопросам дезинформации, дезорганизации и дезавуирования. Сажусь. Проскакивает. Но едва начался перерыв, подходит ко мне старый-старый бурят. Он, собственно, может быть, и не слишком старый был, но такой морщинистый, как водит-

ся, что уже не разобрать — сорок пять ему или семьдесят два. Директор института в Улан-Удэ, доктор наук и все такое. Очень меня вежливо спрашивает: скажите, пожалуйста, в каком учреждении вы занимаетесь вопросами дезинформации? Вот-те на! И еще сообразить ничего не успев, уже слышу, как очень надменно я ему отвечаю:

— В соответствующем.

И стою, горжусь — думаю, он сейчас отвяжется, потому что в дела чекистов мало кому охота встемяшиваться. А он прямо просиял, услышав.

— А вы знаете, — говорит, — у нас в Улан-Удэ работали товарищи из вашего учреждения, очень интересный эксперимент ставили. Они засевали слухи не горизонтально, в определенном слое общества, а вертикально, среди разных слоев, а потом собирали их, исследуя, как они по-разному искажаются. Вы не принимали участия в такой методике посева и сбора слухов?

Ну, думаю, влип. Теперь к нему кто-нибудь опять приедет, в кожаной куртке под пальто, он его уже обо мне будет спрашивать, попаду в непонятное, как это здесь говорится. Я ему очень холодно отвечаю:

— Видите ли, я, к сожалению, не уполномочен на этой конференции обсуждать конкретно свои занятия. Не затем я здесь. Извините.

Он аж ладонь вперед выставил — чур, мол, меня, чур, избави Боже, и с немыслимым уважением повторил несколько раз:

— Понимаю! Понимаю! Понимаю!

Интересно, что на этой конференции он чуть ли не самым заслуженным был, так что он все дни, пока она шла, чуточку свысока со всеми разговаривал, а меня — еще метров за десять увидя — расцветал:

— Здравствуйте, уважаемый, — говорил, — как вам работается?

А я все ходил туда и думал: до чего же мы не знаем даже, как они нас исследуют, изучают, вынюхивают, и от этого никуда не деться. Даже страшно.

— Ты отменно от него отделался, — сказал лепила Юра и, кажется, еще что-то хотел сказать, но его перебил Деляга.

— Я вот байку про находчивость расскажу, — сказал он. — Уж не знаю, правда ли. Не поручусь. Говорят, что старший Форд, основатель всей династии автомобильной, терпеть не мог евреев. И на работу их не брали на его заводах, и к себе он их не допускал. Только однажды к нему все-таки проник еврей

и предложил купить киперную ленту, — фабрика у еврея была, выпускала такую ленту. На обмотку она шла где-то в моторах. Раз уж, говорит ему Форд, вы ко мне попали, а секретаршу я уволю за то, что она вас допустила, то куплю я у вас киперную ленту. Но немного — от кончика вашего носа и до кончика вашего члена еврейского, и не больше. До свидания, впредь не появляйтесь. Ну, проходит месяц, новая секретарша уже у Форда, и опять этот еврей возникает. Я пришел, говорит он Форду, чтобы вас поблагодарить за исключительно большой заказ и заверить вас, что условие ваше я неукоснительно выполнил: поставил вам вагон киперной ленты. Форд молчит, онемел от ярости. Потому что, продолжает еврей, ровно десять тысяч километров разделяют кончик моего носа, который вот он, и кончик моего члена, который шестьдесят лет назад при обрезании остался в местечке под Витебском. Еще раз большое вам спасибо.

Мы еще смеялись, когда Матвей Матвеевич неожиданно вступил в разговор. Грузный, очень вальяжный и солидный, с гладко выбритым и полным лицом, очень мало походил он на зека даже в нашей отвратительной одежде. Он общался с нами мало, он и жил в каптерке, где заведовал вещевым складом лагеря. Поговаривали, что много стоит ему это место, офицеры наши явно к нему благоволили, а сидел он давно уже и никто его из каптерки не выгонял. Я статью его не знал, а по виду — из расхитителей с какой-нибудь базы, потому что с базы нельзя не красть, это как-то все мы уже знали. На то она и база — для комбинаций. Оказалось, однако же, что ошибались.

— В Ленинграде в универмаге одном большом тоже у директора жена еврейка была, — неторопливо проговорил Матвей Матвеевич (безупречная ассоциация, — подумал я, — вот они, тайны психологии). — Расскажу я вам по порядку, если вспомню вот, как ее зовут. Или звали, — пожилая уже была. Ну какие там есть еврейские имена? Но не Сарра, это я бы запомнил.

— Эсфирь, — сказал начитанный Писатель.

— Циля, — сказал Деляга.

— Руфа, — сказал я.

— Фанни, — сказал Бездельник и засмеялся чему-то.

— Вспомнил! — сказал Матвей Матвеевич. — Это у нее не имя, а отчество было, — Анна Ефимовна ее звали.

А была она, рассказал Матвей Матвеевич, очень умная и предусмотрительная женщина, Анна Ефимовна эта, жена боль-

шого завмага. У нее на двери не только глазок был, чтобы глянуть, кто позвонил, но и цепочка была, чтобы дверь слегка лишь приоткрыть, беседуя. И днем как-то звонок раздался. Глянула Анна Ефимовна в глазок — на площадке стоял спокойный очень, пожилой упитанный мужчина, превосходно одетый и с лицом на редкость приличным. Приоткрыла она дверь на размер цепочки. Незнакомец вежливо прикоснулся к шляпе и осведомился, с Анной ли Ефимовной имеет честь. Так учтив был и церемонен, что она даже цепочку сняла, но он заходить не стал. Только шагнул поближе и понизил голос.

— Очень сожалею, уважаемая Анна Ефимовна, — сказал он, — что являюсь к вам как вестник плохих известий, но ваш муж, Анатолий Яковлевич, находится в настоящее время на допросе, и не в милиции притом, а на Литейном. Я там был в гостях у чекистов по такому же неприятному поводу, но, как видите, счастливо отделался, тьфу, тьфу, как говорится. Вот он и успел мне шепнуть: предупредите, мол, ей надо знать, а то, не приведи Господь, с обыском вот-вот нагрянут.

— Но у нас ничего такого нет! — громко ответила Анна Ефимовна, и глазки ее остро вонзились в пришедшего. — Может, зайдете, чаю выпьете после нервотрепки?

— Благодарствую, — изысканно поклонился отпущенный из такого страшного места человек. — Я спешу домой. Нет так нет, мое дело — выполнить поручение очень симпатичного человека, вашего мужа, нервничает он, во всяком случае, чрезвычайно. Всего вам доброго, еще раз извините.

— Но за что же? — севшим голосом спросила Анна Ефимовна. — Он честнейший человек. Труженик.

Это была чистая правда — во втором заявлении, потому что муж ее трудился неустанно, и зримые результаты его усилий хранились дома. Это и узнали грамотные люди, они свои дела готовили тщательно.

— Ах, Анна Ефимовна, — сказал ей наш Матвей Матвеевич сочувственно, — тружеников и теребят сейчас, вы ведь сами знаете. У нас в аптеке который месяц покою нет, ищут следы торговли дефицитными лекарствами — больше, видите ли, им нечем заниматься. Всего вам доброго!

И повернулся устало, и пошел по лестнице, не торопясь. Анна Ефимовна времени терять не стала. Звонить мужу на работу она не решилась (вдруг там уже сидят специальные люди и велят ей приезжать немедленно или дома оставаться до их приезда), а принялась деятельно ворошить в квартире заветные

места. Через час, ие более, уже спускалась она по лестнице с большой хозяйствеииой сумкой, спеша к сестре. Но опоздала — ей иавстречу поднимались двое в плащах, вежливо осведомившиеся, ие оиа ли Аииа Ефимовиа такая-то. Оказалось, что имеиио она. Давайте вериемся иеиадолго, предложил тот, что помоложе. Я, знаете ли, спешу, сестра в больиице, передачу ей несу, залопотала Аииа Ефимовиа, ио уже покорно шла иазад. Никаких документов оиа от ужаса ие спрашивала и верно делала, потому что иа подобиый случай и докумеиты у двоих этих были такие убедительные, что почище иастоящих. Вернулись.

— Надо ли производить у вас обыск, Аина Ефимовна, или вы сами предъявите следствию по доброй воле все имеющиеся у вас цеииости, сберегательиые книжки и облигации? — спросил тот, что помоложе, прямо в коридоре. Тот, что постарше, перемииался с иоги иа ногу, как застоявшийся коиь, ожидающий звука боевой трубы. — И позвольте, кстати, полюбопытствовать, что вы сестре в больиицу иесли? — молодой ловко высвободил сумку из оиемевших рук Аииы Ефимовиы. Расстегиул молиию и загляиул под газету, покрывавшую груз.

— О, вот это передача! — воскликиул он. — Таким образом, и обыска ие иадо делать. Вас предупредил кто-иибудь? — строго спросил ои.

Аииа Ефимовиа молча покачала головой отрицающе.

— Вы сейчас поедете с иами, — сказал молодой, — мы предъявим все это вашему мужу и выясиим, иа какие средства все это приобреталось.

— Наследство это мое личное, от матери это у меия, — вдруг иашлась Анна Ефимовна.

— Очеиь хорошо, — сказал молодой. — Все это будет записаио сейчас в протокол, составим опись и выясиим. Заодно и мужа вашего повидаете, нам иужио, чтобы вы поговорили.

Очеиь бодро спускалась Аииа Ефимовиа вииз, потому что обрела иадежду и мужу сообщить, что все цеииости — от покойиицы матери. Их виизу уже ждала машиia — обычиейшие "Жигули", ио Аниу Ефимовиу иичуть ие интересовало, почему за ией ие прислали чериую "Волгу" или легендарио зловещий вороиок. Возле самой уже машииы старший вдруг открыл рот и сказал:

— Товарищ майор, там ведь холодио у нас, пусть оиа белье возьмет, свитер какой-иибудь и поесть ему, ведь уже ие молодой человек.

— Это можно, — согласился товарищ майор. — Возьмите, Анна Ефимовна, что-нибудь теплое для мужа и какой-нибудь еды можете взять. Мы вас проверять не будем, верим вам, но предупреждаю: чтобы никаких никому телефонных звонков о случившемся. Пока, во всяком случае. Поняли меня? Ждем вас.

И они закурили, стоя возле машины. Сумка уже лежала на сиденье. Анна Ефимовна суетливо двинулась обратно. Когда она минут через пятнадцать вернулась и обнаружила, что машины уже нет, она первым делом, естественно, кинулась звонить мужу. Тот как раз только что вошел, его вызвали по телефону в горком партии к какому-то ответственному лицу, а когда он приехал, оказалось, что там нет такого человека, и милиционер на входе с подозрением расспрашивал, кто его и как вызывал, и вернулся он к себе в магазин довольно раздраженный чьей-то глупой шуткой.

— С такими людьми почему удобно? — спросил нас Матвей Матвеевич назидательно и сам себе ответил: — Они же никогда жаловаться не пойдут. Надо же говорить, что у них украли. А там одного рыжья в изделиях с килограмм, наверно, было. Скупал он золотишко-то, завмаг. Подготовка долгая, но себя оправдывает вполне.

— Психология, — завистливо сказал Юра. Он преданно смотрел Матвей Матвеевичу в рот, словно ожидал, что тот еще что-нибудь скажет, а то и Юру в дело пригласит. Но Матвей Матвеевич молчал. Солидно и удовлетворенно.

— Да, — сказал Бездельник, — красиво. Артистично, главное, ценю я это очень в людях. А вы только под интеллигента работали, Матвей Матвеевич?

— Всяко приходилось, — отозвался тот. Но воспоминания уже явно забурлили в нем.

Заварили новую кружку чая.

— У нас в Москве была красивая история, — вспомнил я. И рассказал давнюю байку про одного большого чиновника. Он все время за границу мотался. Барахло привозил всякое, магнитофоны сдавал в комиссионку, а приобретал картины и любую дорогую старину без разбора, квартира была набита антиквариатом. И однажды как-то вышел он утром, чтобы на работу ехать, — нету его "Волги" на месте. Он поехал на такси, а заявлять о пропаже пока не стал до вечера — объяснили, видимо, сослуживцы ему, что бывает — пригоняют машины, для чего-нибудь воспользовавшись ими. В самом деле — вечером "Волга" стояла у подъезда. А на переднем сиденье — запис-

ка: мол, спасибо, очень было нужно, извините. А чтобы за волнение вас отблагодарить — вот билеты на послезавтра в Театр на Таганке. Это у нас самый модный в Москве театр, объяснил я, адресуясь к Матвей Матвеевичу, и он хмыкнул, что отлично знает. Посмеялся этот чиновник вместе с женой, что такие пошли культурные угонщики, и отправились они послезавтра в театр. А вернулись — квартира вывезена полностью. Соседи машину видели и грузчиков, но в больших домах какие теперь соседи — он их и в лицо не знал толком. Такая была культурная операция.

— А с машиной тоже было, тоже с "Волгой", и в Москве, — усмешливо сказал Матвей Матвеевич, и мы уважительно притихли. Удивительно, что и лицо у него сдвинулось в чертах, когда рассказывал — не было вальяжности, гладкости, словно даже сморщенность какая-то пошла и простоватость.

Это было в Южном порту (так, кажется, называется место, где идет широкая торговля автомобилями через комиссионный магазин, вечно трется там толпа покупателей, продавцов и любопытствующих). В очереди в кассу — и в немалой очереди — стоял обтерханный деревенский старикан. В валенках с галошами, замшелом пальтеце, в каких ездили "в город" или в праздники носили до войны, в потертой шапке и небритый, но без бороды — торчала редкая седая колючка.

Время от времени отлучался старик покурить в коридоре самокрутку, для чего и газета у него была, уже нарезанная загодя, и табак едкости необычайной. Очередь на старика косилась, но помалкивала, переглядываясь и посмеиваясь. А когда он до окошка достоялся, то и вовсе умора началась: глубоко куда-то он полез то ли в пиджак внизу, то ли в брюки сверху, отстегнул там, видать, булавку, вытащил носовой платок, аккуратно сложенный, а из него — лотерейный билет.

— Здесь, дочка, что ли, деньги мне получать? — ласково спросил он. — "Волгу" я выиграл на старости лет, а мне сказали — можно взять деньгами.

Очередь ахнула и засмеялась восхищенно. Кассирша объяснила не без раздражения, что зря он тут стоял и что в сберкассу надо обращаться, в любую. И он покорно отошел, покачивая головой от огорчения, снова носовой платок пришпилил где-то глубоко и стал уходить. Только шли уже за ним трое молодых грузин, догоняя.

— Папаша, — окликнули они его. — Продай нам этот билет, нам нужна машина.

Старик остановился, переступил с ноги на ногу, улыбнулся сконфуженно, желтые зубы обнажив, и отказался.

— Не могу, сынки, — сказал он. — Вроде как не положено это. Еще отберут деньги, скажут — спекулироваю.

— Да никто не узнает, — настаивали грузины. — А мы тебе не девять тысяч, как сберкасса, мы тебе десять сразу дадим. Нужны деньги?

— Ой, нужны, сынки, — сказал старик и стал гугниво и нудно перечислять, сколько надо ему, чтоб избу поправить, сколько надо детям отдать, а сколько — к пенсии добавлять каждый месяц. А еще внуку мотоцикл пообещал. Но продавать билет, однако, боязно — одна, говорят, продала, так у ней не только все деньги отняли, а еще и от тюрьмы еле-еле отвертелась, потому только, что инвалидка, а то бы срок.

Все это рассказывая, он шел и шел помаленьку, грузины за ним тянулись, уговаривая, звали выпить, в цене дошли уже тысяч до двенадцати, старик аж вспотел от волнения, но стойко упирался. А еще он говорил, что боится, что билет у него выхватят или потом отнимут деньги — мол, и такое, говорят, было однажды, а он дряхлый уже и всего теперь опасается. Городские — они лихие люди, а тем более вы, восточные, — я вон видите, сынки, вы уж не обижайтесь, говорю с вами, а сам поглядываю — есть ли народ вокруг, чтобы помочь мне в случае чего, я ведь тоже не лыком шит.

Тут один из грузин, чтобы старика подначить, сказал, что, может, врет он все и не выиграл его билет, а просто он ошибся по старости, и старик ужасно вскипятился. Он настолько разошелся от такого недоверия к нему, что даже страхи свои забыл и дал усадить себя в такси, чтобы ехать в ближайшую сберкассу. Кстати, шофер такси, их разговор послушав, посоветовал билет продать, потому что ничего за это не делают, а услышав сумму, только проницательно усмехнулся, но промолчал, за что на чай целую трешку получил от пассажиров. А в сберкассе старик сразу направился к висящим газетам с тиражом выигрышей, снова достал платок с билетом, издали от грузин опасливо его держа и своей опаски не стесняясь, и они проверили все вместе — "Волга". И размяк старик, переволновавшись, и тут же они поладили на двенадцати с половиной тысячах. Деньги старик не пересчитывал, доверяя банковским полоскам на пачках, спрятал их глубоко в пиджак, ловко зашпилил там и отдал грузинам билет с носовым платком впридачу, только потребовал, чтобы сразу же усадили они его в так-

си, а то неровен час, лихие люди в троллейбусе чего унюхают. И уехал, за руку попрощавшись.

Рассказывая это, Матвей Матвеевич так изменился, говорок у него стал деревенский, то ли тамбовского, то ли рязанского оттенка, лицо съежилось, глазки подозрительно сверкали — удивительный проявился в нем актер. Он даже фигурой стал иным — суетливей, мельче и пожиже.

А грузины, вероятнее всего, в ту же сберкассу и вернулись, чтоб узнать, где им получить машину и как оформить. И, наверно, девушка там сидевшая, им сказала недоуменно, что удивляется трем таким солидным мужчинам, что они показывают ей поддельный билет. Если бы они прямо сейчас хотели деньги получить, она сразу бы милицию вызвала, но поскольку просто спрашивают, она вызывать не будет, но неужели они не видят, что в билете одна цифра подделана? И совсем не мастерски даже, можно различить сразу, если глаз опытный — надо только на свет посмотреть, и все.

— Здорово, — сказал Бездельник. — Просто здорово. В вас, Матвей Матвеевич, замечательный артист пропал.

— Почему же, собственно, пропал? — вальяжно возразил Матвей Матвеевич. — Он пропал бы, если б я, к примеру, парикмахером работал. А так нет, не пропал во мне артист.

И мы все засмеялись уважительно, и Матвей Матвеевич тоже усмехнулся.

— А скажите, — спросил Писатель, — было у вас когда-нибудь, чтобы самого вас обманули и провели?

— Было! — почему-то радостно и сразу ответил Матвей Матвеевич и очень молодо, сочно выругался. — Хохол один. В Гагре это было летом, уже лет десять тому назад. Ох, и сука.

Мы тогда в карты ездили играть в Гагру, — стал рассказывать Матвей Матвеевич, — трое было нас, но мы с понтом — незнакомые. Так, на пляже сошлись от делать нечего. И выискивали лохов разных — профессоров, военных повыше рангом, магазинщиков, кого придется. И наткнулись на хохла одного, он из-под Харькова приехал себе дом присматривать, вроде бы его жене там не климатило, они решили почему-то сюда. И уже у него деньги с собой, чтобы то ли задаток дать, то ли купить сразу — не помню точно. Только мы сперва, как водится, дали ему выиграть рублей двести, подогрелся чтобы, и опять сели вечером.

— Взгонка это называется, — вставил Юра.

— Ага, — мотнул головой Матвей Матвеевич. — Взгонка. Вечером выиграли у него три тысячи. Он говорит: еще хочу, отыгрываться буду. Твое право. Сговорились, что завтра к нему в гостиницу придем. Кстати, я как чувствовал утром, не хотел идти, но ребята уговорили. Приходим. Все уже готово у него: бутылка стоит, будто выпить собрались, закуска нехитрая. Садимся. Только-только начали играть — менты. А деньги — на столе они, тепленькие. Не отговоришься. Забирают нас, день сидим, ночь ночуем, утром дергают к следователю. Офицер немолодой уже, капитан, сам грузин, а по-русски чисто шпарит, легкий только акцент остался. Сразу, главное, всем троим и сразу открытым текстом: дескать, мы уже вас давно приметили, жертвы ваши тоже нам известны частично, так что если бы этот украинец на вас не заявил, мы бы все равно вас повязали. Значит, заявил все-таки, сука, думаю, и переглянулись мы молча. А капитан продолжает: если, мол, ребята, хотите, разойдемся с миром. Я сейчас одного из вас выпущу, выбирайте сами — кого, он съездит и привезет деньги. Мне пусть привезет пять тысяч, мне много не надо, а украинцу этому — только то, что вы у него выиграли, ему верните его восемь тысяч. Тут у нас глаза на лоб: гражданин капитан, кричим, у него, паскуды, мы только три выиграли, да еще перед этим двести проиграли. Побойтесь Бога.

А он смеется во весь рот, морда замечательно симпатичная, — видите, говорит, ребята, провел вас этот украинский хитрец, написал в заявлении, что восемь. Платить придется. А то ведь не отстанет. И вам же хуже будет, и я вас выручить не смогу.

— И привезли? — не выдержал Юра.

— А куда денешься? И еще нас этот капитан до вечера держал — это для вашей же, говорит, пользы, дорогие друзья, чтобы вы сгоряча не кинулись разыскивать этого находчивого человека. Правда, обед нам из ресторана принесли. И бесплатно, заметьте. Нет, грузины — это люди. А хохлов я и всегда не любил. Но ведь скажите — сука?

Благородный гнев Матвей Матвеевич мы, к его удовольствию, разделили. Ведь и вправду сука — не только обмануть себя не дал и ограбить, но еще и сам в выигрыше остался.

— Так они ведь и друг друга как при случае продают, — сказал Юра. Но его никто не поддержал. Уж кому-кому, но не евреям принимать участие в беседах о сравнительных пороках разных наций.

И тогда, чтобы не быть голословным, Юра тоже нам нсторню рассказал. Где-то как раз под Харьковом пронсшедшую в рабочем прнгороде.

Один мужнк свою получку бумажнымн рублями получил. Прншел домой н рублн этн, чтоб жену потешить, на веревочке под прнщепкн развесил, будто первомайскне флажкн. А к нему сосед как раз зашел с третьего этажа, чтоб одолжнть на вечер самогонный аппарат, очень хорошо он сделан был у мужнка, народного умельца на все руки.

— Что это у тебя? — говорнт сосед про рубли.

— А сохнут, — объяснил ему мужнк. — Я машинку такую сделал, рублн печатает.

Ну сосед покрутил головой с завнстью н уваженнем — талант, мол, — взял аппарат для самогонки н ушел. Через час к мужику ввалнвается милнцня высшего в нх участке комсостава.

— Где, — кричат, — аппарат, на котором ты рублн печатаешь?

Ясно, что сосед настучал. А какая ему корысть от этого, думает мужнк. Илн по завнстн просто черной, илн чтоб ему самогонный аппарат остался, когда меня заметут. Ладно, думает, сука, я тебе отплачу с лнхвой.

— Машнну я свою, товарнщн начальннкн, — отвечает он нм смиренно, — переделал теперь на трешннкн н одолжил ее соседу с третьего этажа.

Ну, онн крутанулнсь быстренько, одного нз своих оставилн, самн наверх к соседу. А тот как раз вовсю самогон гонит — за что статья, как нзвестно, полагается. И не сослаться, что, мол, аппарат не его — засталн с полнчным. И увелн. А мужнка-слесаря обматерилн только, но со смехом. Вот, ребята, какое соседское у ннх прнятельство, а вы говорнте.

Мы, впрочем, ннчего не говорилн. Мы уже наговорилнсь на сегодня. Матвей Матвеевнч, к прнмеру, клевал носом, вопрекн легенде о стимулнрующем воздействнн крепкого чая. Мне хотелось все скорее записать, так что никто не возражал, когда Бездельннк предложил нам разойтись по будуарам. Спеша к бумаге, чувствовал я себя охотннком, удачно проведшнм день. Психологня — прекрасная наука, думал я.

* * *

Был забавиый только что разговор, и ие уверен я, что смогу его передать на бумаге — очеиь уж мы горячились, перебивая друг друга — очевидио, сокровеииую задели тему. Речь зашла о том, отчего мы ощущаем себя евреями, хотя жили всю жизнь в России, и русский язык совершеиио родиой для иас, и ие зиаем практически иичего о еврейской культуре — да и есть ли оиа такая в России — вот, кажется, об этом имеиио разговор и иачался. Совершенно только точио помню, что нечто патетическое н возвышеиное первым сказал Писатель. Вроде того, что чнтал ои какую-то статью, с которой совершеиио согласеи, а в статье той говорилось, что сохраиность еврейского духа — от местечек, этих искусствеииых резерваций, где храиился и бродил, укрепляясь, дух еврейства и еврейской культуры. Чушь это, хотел я возразить, потому что тысячи покииувшнх местечки парией тянулись к русской культуре, поступая куда попало, если удавалось, а девицы — те даже иа желтый билет проститутки соглашались, лишь бы поселиться в Петербурге, Москве или Киеве и учиться, иапрочь с себя стряхивая все, чем иаделило их местечко. Оттого и в революцию киилось их, очертя голову, такое иемыслимое количество. И иичего в них не было от еврейства, и евреямн оии себя ощутили, когда им напомиили об этом. Все это вихрем пронеслось у меня в голове, ио меня опередил Бездельиик:

— Это очеиь верио, — сказал ои важио и глубокомыслеиио, — что большая культура в местечках произрастала. Мие отец, ои из местечка был, рассказывал, как оии взрослыми уже парнями собирались где-иибудь за сараями и соревиовались, кто больше раз подряд громко воздух испортит. И количество учитывалось, и громкость.

— Молодец, Бездельиик, — сказал Деляга, — Ты настоящий полемист. А тебя отец ие иаучил?

— К сожалеиию, нет, — сознался Бездельник. — И языку, обратн вниманне, иас инкто из родии не иаучил. А ведь жаль? Согласитесь, жаль ведь?

Им ие до того было, тем, кто мог бы иас научить. Полные веры и энтузиазма, оии строили новый мир, где наций вообще ие будет. Кто опомиился в лагерях уже, кто — во время войиы, когда от тягот жизиеииых, да от листовок иемецких вспыхиул антисемитизм повсюду; кто — в коице сороковых, когда аресты пошли среди евреев, а повсюду — увольиения и разго-

воры о безродных космополитах; кто вообще додержался до иачала пятидесятых и дела врачей, ио в конце коицов иа свои места встали ощущеиия у всех: евреи — это евреи. И сказать об этом что-иибудь хотелось вслух, как охота почесать вокруг раны, только после реплики Бездельника было неловко говорить всерьез, вот же дурак в самом деле, шут гороховый, какую тему сиизил. Но Деляга заговорил о том же, и я подумал: нет, ие снизил тему Бездельиик, я ие зря его уважаю больше двух других, а уж более, чем себя — и подавио, ои ее иа место поставил, эту тему. А Деляга из биографии рассказывал, и страшио было все похоже иа мои воспомииаиия детства.

Деляга: Дом у иас был двухэтажный, деревяииый — вроде барака, да ие барак — двадцатых годов постройка. Восемь квартир. Ну, жили, конечио, семей тридцать. Так вот сбоку у иас, иа иашем же этаже, жила старушка — это мие тогда оиа старушкой казалась. Вера Абрамовиа, зубиой врач. Комнатка была у иее крохотиая и прихожая, часть общего коридора. Там она больиых и прииимала. А чтоб ее иа частиом промысле ие застукали, оиа себе купила справку, что старая большевичка с подпольиым стажем. Но иа справку эту оиа ие сильио иадеялась, и поэтому каждый вечер после работы муж ее Яков Семеиович сидел возле парадиого иа стуле и читал газету. Прямо иа улице. Часа по четыре каждый деиь. В любую погоду. В дождь, коиечио, ои садился в тамбуре между двумя дверями, ио там темиовато было, так что ои и в дождь иоровил поближе к свету. Наружиую дверь подопрет чем-иибудь и читает. Зимой даже, представляете? Днем-то ои, естествеиио, работал где-то экономистом. Экоиомист ведь, как тогда говорили, — это не профессия, а иациоиальность. Так что, по-нашему, по-сегодияшиему говоря, Яков Семеиович на стреме стоял. На атасе. Потому что иадо было кормить и Софу, и Цилю. Упитанные были дочки, как булочки. Вышли замуж и пропали, как водится, для родителей. Обе, кстати, за русских, что Веру Абрамовну очеиь расстраивало, оиа к моей матушке жаловаться ходила. А Яков Семеиович за эти годы газет начитался так, что ему иа все уже иаплевать было. Цииик стал. Не от иих же я мог почувствовать, что я еврей, да еще гордиться этим? Разве что иаоборот.

Я Делягу в это время вполуха слушал, потому что, параллельно его словам разворачиваясь, шла в моей памяти, словио фильм в повториом кино, сцена, много раз видеииая иа дворе моего детства. У иас иа втором этаже, тоже с дочкой Цилей,

кстати, жил толстый и очень веселый Исаак Львович. У него Циля уже была замужем за красавцем офицером, где-то в очень высоком военном заведении служившим и оттуда вылетевшим как раз, потому что начальство предложило ему повышение при условии, что он бросит свою жидовку. Эту историю все у нас во дворе знали, я — так прямо от родителей своих ее услышал, хоть проблемы эти вовсе меня тогда не волновали, но я слышал и впитывал все, что родители от меня хотели скрыть и обсуждали тихо. Офицер этот меня тоже мало интересовал, а Исаака Львовича я ценил весьма, потому что он то и дело всем нам дарил резиновые детские мячи — их гонять было куда интересней, чем консервные банки, которыми мы тогда играли в футбол. Исаак Львович работал в какой-то резиновой артели, и раз в полгода-год его арестовывали по подозрению в незаконных махинациях. Но через два-три дня он возвращался, и каким-то образом в этот час весь дом уже знал, что он идет домой, и все торчали возле окон, и Циля тоже, естественно, торчала, а он всегда появлялся и рукой еще издали показывал — не для нее, конечно, а всем соседям-зрителям, что пронесло, мол, что пустяки это все, наветы, и на честного человека возвести поклеп очень трудно. Каким образом в его нехитром взмахе руки умещалось столько информации, передать я не могу, но она была именно такая, как изложено. И все от окон отходили очень удовлетворенные, потому что, повторяю, к Исааку Львовичу относились все с симпатией: у него можно было всегда перехватить денег перед получкой или вообще в трудных обстоятельствах, да и Циля, им наученная с детства, очень приветливо и готовно одалживала, когда просили, хоть одалживать приходилось часто, и вовремя отдавали не всегда. Это я тоже слышал от родителей.

Вот и вся моя была еврейская среда. И уж никак не сами родители: отец был весь в работе всю жизнь, и не столько в содержании ее (что-то он планировал где-то в экономическом главке или был экономистом в плановом), сколько в том, кого куда переместили; мать — в наших болезнях и хозяйстве утопала, а когда время было, — читала запоем что придется, предпочитая Бальзака и Мопассана. Тема же еврейская (как болезненная, но судить об этом я могу только теперь) вовсе у нас не поднималась в доме. Обожал говорить об этом дядя, но я всю жизнь его терпеть не мог, потому что был как-то жестоко избит отцом за то, что съел дядины яблоки, хранимые им на общем с нами шкафу. Они какое-то время жили у нас,

но ели отдельно, часто ночью, у себя в смежной комнате, а яблоки эти я с приятелем стянул однажды, а когда били, то дядя за меня не заступился. Так что я никак не мог слушать его без предубеждения...

— И несмотря на полное отсутствие образования в этом вопросе, — говорил между тем Бездельник, продолжая что-то рассказывать, — я всю жизнь дрался именно из-за этого. Верней, не дрался, а били меня. Слово "еврей" тогда казалось мне ругательством, о слове "жид" я уже не говорю, и я кидался драться, едва меня так называли. Ох, и били же меня. Зимой.

И объяснил сразу, жмурясь так блаженно, словно рассказывал не о битье, а о пряниках:

— Летом за другое били. У отца дача была, и мы туда на лето уезжали. А там все время дрались две компании: дачники, что на лето снимали там комнату или домик, и местные, кто всегда там жил. А я вроде бы и не дачник был, потому что дом-то свой, а с другой стороны — и не местный, потому что жил только летом. Вот меня и били обе компании — смотря с какой водился, а то и обе сразу. Хорошо было, молодой. Я потому и вырос такой сравнительно не хилый, всегда старался сдачи дать, вот и развивался физически.

...А когда же все-таки оформилось во мне, осознялось это еврейство, — думал я, опять не слушая разговор. Не помню. Если бы из чувства противоречия, но никогда меня так сильно не обижали именно за то, что я еврей, не было этого. Школу кончил с медалью, помню, как поступал в институт. Хотел в Бауманский, отнес туда бумаги, какая-то очень симпатичная пожилая женщина сказала мне тихо: "Не ходите сюда, все равно вас провалят на собеседовании, не тратьте время". Почему-то ее послушал, отнес бумаги в Энергетический, экзаменов сдавать не надо было — медалист, пришел на собеседование по физике. До сих пор помню вопрос: зачем весной счищают с крыши снег? Чтобы крыша не обвалилась. А почему зимой не счищают? Помолчал, посопел, посопел, не догадался. После много лет этот вопрос задавал самым разным людям самой разной степени учености. Потому что уже знал ответ, мне его еще тогда сказал мужик, что меня засыпал. Никто не отвечал мне правильно. Затем счищают именно весной, что снег под солнцем начинает впитывать из воздуха влагу и становится гораздо тяжелей, тут-то он и может проломить крышу. Только я-то ведь мог же догадаться? Это был пятьдесят третий год,

все понимающе качали головами. Но я лично до сих пор считаю, что вполне справедливо было меня погнать, ибо в школе медаль можно и задницей заработать, а вопрос был обращен к сообразительности более высокого порядка. Правда, потом, поступив уже в невзрачный технический институт, где вообще не было собеседования, если медалист — просто приходи и записывайся, — обнаружил я, что у нас на курсе из ста с чем-то человек — тридцать, если не больше, медалистов, и все — евреи. Тут я, правда, задумался, но ненадолго, потому что года на три с головой окунулся в неразделенную первую любовь. И ни до чего мне больше было, не помню даже, как учился. На четвертом только курсе очнулся для новой жизни, когда вышла она замуж за моего закадычного приятеля. А очнулся — надо было упущенное наверстывать, у всех вокруг уже полно подружек было, так что никакими, насколько помню, мировоззренческими вопросами я в институте не задавался. Черт меня побери, когда же я стал евреем? Потому что и в последующие двадцать лет никогда меня по этой части не ущемляли, так что все, что в большом мире происходило и вокруг меня поблизости, — вроде я со стороны наблюдал...

— И правильно делают, что не любят, — говорил Бездельник. — Поройтесь в памяти быстро, я в своей уже порылся, ставлю пять лет своего срока против пачки чая, что у каждого близкие друзья были евреи. Что, неправ я?

И продолжал, не ожидая нашего согласия:

— Как же после этого не утверждать о злокозненной склонности евреев объединяться, поддерживать друг друга и вообще держаться особняком? При всей притом растворенности в коренном населении? А? Согласитесь!

Наш отряд строился на обед, и пора было бежать к столовой, но мы твердо знали, что при первой возможности вновь и вновь вернемся к этой теме.

* * *

Снова я спешу записать, потому что мне все время кажется, что всплывающие здесь в памяти истории куда больше говорят о нашей жизни, чем любые разные рассуждения. Вот с чего началось — не помню. Да, наверно, и неважно — с чего.

Нет, помню. С разговора о счастье. Очень быстро запутались, пытаясь определить, что это такое. Деляга сказал, что

счастье — это когда в пятиицу вечером чувствуешь себя прекрасио и вымотаиио до иитки. Потому что иеделя прошла ие зря, что-то за эти дии успел, впереди иечто такое же иитересиое, с чем ты справляешься, притом удачио, а сейчас вокруг тебя родиые и близкие, и сейчас вы сядете выпивать, закусывать и с любовью подшучивать друг иад другом. Тут мы все сперва согласились, ио иемедля опять заспорили, уточияя, и сошлись только иа том, что счастье — это вовсе ие благополучие, отчего и иевозможно в потребительском обществе. Да притом еще в иашем, сказал Бездельиик, в потребительском обществе, лишеиием продуктов потреблеиия. Сиова заспорили о благополучии, тут Деляга вспомиил свою байку. Так что — сперва ее.

Зиачит, жили в Киеве в самом иачале века два друживших еврейских мальчика. Потихоиьку выросли, стали почти взрослыми уже, потом разъехались и потерялись. И одии из их спустя лет сорок разыскал другого где-то в Миiске (а возможио, в Кишииеве или Москве, иеважио это). Разыскал и, как водится в хороших байках, сразу говорит: как вы живете, Лифшиц? Ой, говорит упитаииый и свежий Лифшиц, спасибо, я живу очеиь-очеиь плохо. Что-то иезаметио это, говорит осторожио его гость. Вы послушайте, говорит ему иа это Лифшиц, вы же помиите, как досталась мие от папы его портиовская мастерская? У меия ее потом отобрали. Я теперь закройщик в казеииой. Так вы зиаете, это даже лучше: я пришел, я покроил и я ушел, и ии от чего ие болит мие голова, и я спокоеи, что если что-иибудь сгорит, и иичего у меия ие уворуешь. А заказчиков, слава Богу, мие хватает вполие и дома — редко, чтоб сейчас кто шил, как я. В чем же дело? — спрашивает гость. Но послушайте, говорит ему на это Лифшиц, вы же помиите, что папа летом ездил в Ниццу и Моите-Карло. А теперь я езжу в это ваше — как его? Цхалтубо. Так вы зиаете? — это даже лучше. И ие иадо одеваться к завтраку, и к обеду можио выйти в пижаме, и вообще это иастоящий отдых, а ие эти безумиые развлечеиия, от которых только тратится здоровье. В чем же дело? — спрашивает гость. Но послушайте, отвечает ему Лифшиц, вы же помиите, что у меия бывали жеищины? Да, теперь, коиечио, силы ие те, ио если сказать вам честиую правду, то две очеиь приятиых дамочки есть и тут. Но послушайте, говорит ему гость и даже чуть привстает со стула. Нет, отвечает ему Лифшиц, это вы послушайте меня. Вы же помиите, у меня был свой рессориый выезд? Я садился, говорил

кучеру — гоии! — и мы ехали, Боже, как мы ехали! Но сказать вам если честиую правду, за углом вы, может быть, заметили машину. Я всегда могу сесть в эту машиину. Это и скорей, и иикому я ие заметеи, что, вы сами знаете, это сейчас лучше. Я плачу шоферу план — это такси, я плачу ему чаевые, я плачу ему экоиомию беизииа.

— В чем же дело? Вы гиевите Бога, Лифшиц! — иервио вскричал гость.

И тогда Лифшиц трагически и пространствеиио развел руками, словио обнимая эту жизнь, и с сокрушением сказал:

— Ой! Но если мие все это не нравится!

Посмеялись. "Что за вииегрет наша память", — сказал Писатель. "Винегрет — шутка витамииная" — сказал Бездельиик. И после долгого, иепоиятио долгого молчаиия, словио иас ие очеиь рассмешила эта байка, а задуматься заставила почему-то, Писатель заговорил первым. О совсем другом ои, оказывается, в это время вспоминал. Может быть, в связи с Киевом?

— Я ииогда думаю, — сказал он, — что это просто сидит в крови. Ну там если ие в крови, то в таких глубоких клетках памяти, что срабатывает помимо воли, иезависимо от созиания, прямо включается в мысли и чувства человека.

— Здесь два варианта, Писатель, — вкрадчиво сказал Бездельиик. — Или я тебя слышал ие с самого иачала, поэтому ие поиимаю, о чем ты, или у тебя, как здесь говорится, замкиуло ку-ку.

— Крыша поехала, — сказал Деляга.

— Это у вас обоих естествеиная умствеиная деградация, вызваииая иехваткой глюкозы, — сказал Писатель. — А я просто продолжаю наш разговор, иачатый вчера.

— А ие третьего дня? — деловито спросил Бездельиик. При хорошем иастроеиии ои часто поддразиивал Писателя, — думаю, что за склоииость к серьезиости — большей, чем пристала разумному человеку.

— Да, — сказал Писатель. — И вчера, и позавчера, и раньше. — Ему явно ие терпелось рассказать. — Во все дии, когда мы говорили о евреях. О вас, проклятых.

— Только что, а ие вчера, — сказал Деляга.

— Потому и вспомнил, — сказал Писатель. — И давайте расскажу, ие пожалеете. Я когда писал киижку о том, как мозг исследуют и лечат, очеиь миого шлялся по всяким лабораториям. По врачам, учеиым, всяко было. И вот в Киеве мие одии

старик-психиатр историю рассказал. Жутковатую, по-моему, историю. Сам ои профессор. Шехтер, кажется. Ну пусть будет Шехтер. Суть в другом.

И Писатель набил трубку махоркой. Сигарет у иас ие было в те дии. И табак давио уже коичился. Мы случайио раздобыли махорку иа этапиом дворе. Я уже писал о ием. Двое тамошиих иадзирателей, молодые иаглые мордовороты, отиимали у виовь прибывших почти все, что тем удавалось довезти, а я случайио добрался до их укромиых запасов. Меия позвал к себе поговорить их иачальиик, а его куда-то вызвали вдруг, а где лежит мешочек с махоркой, зиал я иамного раньше. И ни иа секунду ие задумался, когда втискивал его себе за пояс под бушлат. Как его приладить, чтобы было иезаметио, — об этом думал, а про мораль — вековую христиаискую, человеческую вообще, интеллигеитскую в частиости — ии едииой мысли ие пришло. Позже пришла такая мысль, но и в ией ни капли раскаяиия ие возиикло. Первые пять дией каждого месяца ие работал ларек, так что трудио было с куревом во всем лагере. Миогие и ие курили в эти дии, раздражительиость явио участила ссоры и драки, а искателей бычков иа плацу становилось иамиого больше. Кто пощепетильией, подходил стрельнуть, ио ие покурить, а затяиуться пару раз. При куреиии через трубку махорка становилась иастолько крепче, что заядлые курильщики удивлялись, угостившись затяжкой, как это Писатель может курить, ио ои попыхивал, как ии в чем ие бывало, и проблема была только, чтоб хватило этой махорки, ибо большая ее часть разошлась уже по бедствующим знакомым. Но я отвлекся от рассказа Писателя.

Киевский этот профессор Шехтер был весьма известеи среди коллег. И учеиостью своей, и опытом, и сварливостью, и свирепой своей жалостью к больиым. И умеиием обидную мысль выразить лаконичио и точио. Вот, к примеру, что ои сразу сказал Писателю при зиакомстве:

— Все вы — измельчавшее поколеиие. О каждом времеии можио судить по маниям величия. У меия иа всю клииику — ии одиого Наполеоиа! Официантка заболевает, у иее мания величия — оиа директор ресторана. Привозят лейтеиаита, у него маиия величия — ои майор. Заболевает иесчастиый графомаи, у него маиия величия — ои Шолохов. Это вырождеиие, сударь мой, деградация жизиенных масштабов, убожество.

— Ладно, я когда свихнусь, вас порадую, — ответил ему Писатель. — Меньше, чем Экклезиастом, ие буду. Обещаю

твердо. Разве по крайности, если уж очень буду плох, то Шекспнром.

И, возможно, этнм расположил к себе старнка, рассказавшего ему вскоре о случае, поразнвшем даже его, видевшего всякое и много.

В отделеннн у его коллегн лежал уже больше года украинец средннх лет, страдавший полной обездвижеиностью иа нервной почве. Каталепсней давио было названо это столь же давно опнсанное н до сих пор темное явленне. То есть рукн н ногн былн у него подвнжны, точней — податлнвы: еслн его ставилн, он стоял; сгнбалн руку — он ее так н держал часамн, ему можно было придавать любые позы, врачн это нменуют восковой гнбкостью, — только сам он не двигался н не шевелился. Мускулы его нервам не подчинялись. Илн нервы, что ведают в мозгу двнженнем, отказывалнсь работать — это Пнсатель точио ие запомиил. И его кормили через зонд. И не говорил он нн слова. Даже родственннкам, что прнезжали нзредка посидеть безнадежно около, а потом, поплакав, уехать. Ибо и в сознанин этот пацнент пребывал смутном н нн на что инкак ие реагировал. И лекарства его не брали. Наука прн этом говорит нечто высокое и невразумительное о широко разлнвшемся торможеннн в коре головного мозга н в подкорке, но это ведь слова, ярлык, повешенный на место, где суть остается непонятной.

Словом, Шехтер взялся его растормозить. И с коллегой даже на что-то поспорил. Он надеялся на постепенное внушенне — у больного было все в порядке н со зреннем н со слухом — он н видел, н слышал, только как бы не осознавал это, что лн, где-то там еле-еле жнвя в себе самом. И еще надеялся Шехтер, как тогда он объяснил Писателю, — на автоматнческую днсцнплину у старых военнослужащих, а украинец этот в армнн служил долго н, по всей видимостн, со вкусом, ибо оставался на сверхсрочиую службу старшиной. Только надо было его сперва подготовить к появленню некоего лнца, голос которого проннк бы в него до последней мыслнмой глубнны. А для этого ему каждый день раз по двадцать, а то н больше, санитары, врачн, даже больные — добровольцы нз соседнего алкогольного отделення — говорилн то невзначай, то прямо, что есть в клнннке такой чародей, профессор Шехтер, он прндет н непременно нзлечнт, просто временн у него пока что нет, разрывают его больные на части. Но что он придет, обязательно. Режиссером этого всего был сам Шехтер — не показы-

ваясь больиому, управлял он иагнетаиием ожидаиия, чтобы в больиом накалялась постепеиио вера в иемииуемое чудо. Старый это, столетиями испытаииый рецепт множества исцелеиий иа почве веры. Ои сработал и на этот раз безупречио. С малеиькой лишь деталью, из-за которой весь рассказ.

На десятый, кажется, деиь, когда украиицу-каталептику уже точно сказали, что у профессора иайдется время завтра, ои обиаружил явные признаки беспокойства и возбуждеиия, ставшие иазавтра к утру чуть ли ие лихорадкой иетерпеиия. А потом вбежали человек пять-шесть иезиакомых врачей в халатах, выстроились почтительио, как зараиее было договореио, и пот уже бежал с больиого, и глаза смотрели почти ясио. И тогда вошел Шехтер, подошел к постели больиого — маленький, седой, властиый, и сказал ему то "встань и иди", что извечно говорили всюду целители — ои словио киутом щелкиул:

— Встать!

И каталептик послушио — сел иа кровати и почти сам встал — ему помогли иемиого. И тогда-то (о чем и речь), ткнув его зачем-то пальцем в живот (выше ие доставал просто), спросил Шехтер столь же властио, чтобы заговорил больиой:

— Кто я, зиаешь?

И, словио ие было годовой неподвижиости, украииец переступил с ноги иа иогу, облизиул пересохшие губы и послушно ответил:

— Жид.

Вот иасколько первым и зиачимым было для иего это определеиие. Ои заговорил потом и задвигался.

— Ну? — спросил Шехтер у Писателя, ему это торжествеиио рассказав. — Каково? Чувствуете теперь, где это все сидит?

— М-да, — поежился Бездельиик. — Глубоковато.

* * *

— При любом попутном и удачиом ветре эта вечная искра легко разгорится в пламя, — сказал Деляга.

— Нет уж, тут ветра мало, тут идея какая-нибудь иужиа, — возразил Бездельиик. — Я однажды столкиулся с такой идеей. И порадовался, что оиа еще не всюду разиеслась. Все еще, впрочем, впереди. Замечательиый у меия был один разговор. С русским потомствеииым интеллигентом. Очеиь я помог

тогда развитию той идеи. Грех был бы не помочь.

— Не тяни ты, — сказал Деляга.

— Ничуть я не тяну, ребята, просто приятно вспомнить не торопясь. Или вы куда-нибудь спешите?

— Нет, — с сожалением сказал Писатель. — Никуда. Рассказывай, старик, и не гони картину. Смакуй детали, излагай подробности, делай паузы в интересных местах. Гуляй.

— Все-то вы опошлите, — сказал Бездельник. — Только я все равно ведь расскажу.

Было это пару лет назад в Ленинграде, куда приехал Бездельник дней на несколько пошататься по любимому городу. И приятели сказали ему, что у них на киностудии недавно появился интересный новый редактор. Какие-то небольшие рассказы он уже напечатал, был весь сам из себя литератор и философ, главное же — не скрывал, более того — вслух говорил, что евреям, дескать, в России не место. Это ведь покуда редкость, — громко такое говорить в приличном окружении, а не тщательно скрывать и прятать. Этот же не только прокламировал свою уверенность, но по отношению к конкретным евреям-авторам был порядочен безупречно, то есть не только не отвергал их, но и сам привлекал и опекал, если знал или обнаруживал за ними какие-нибудь подлинные способности. Антисемитизм у него был какой-то чисто теоретический, из глубоких, как видно, убеждений произраставший и питавшийся.

Бездельнику предложили с тем редактором его свести, и Бездельник согласился с интересом. И свели.

Разговор шел путаный сперва, несвязный, общих знакомых они выискивали — поиск общих знакомых в интеллигентных первых разговорах ту же самую роль играет, что обнюхиванье у собак — приблизительно ясно делается, с кем общаться привелось. После чего (а обнюхиванье это очень расположило их друг к другу) заговорили о книгах Самиздата — кто что читал и какого мнения. Тут не мог не зайти разговор о России вообще и ее сегодняшнем неустройстве, и Бездельник в удачном месте ловко ввернул смешную фразу некой очень культурной старушки. Эта престарелая мать одного пожилого ученого как-то замечательно ясно выразилась: "Русские люди сделали евреям столько зла, что негоже русским людям обижаться, что евреи сделали в России революцию".

Тут редактор клюнул на заготовленного Бездельником червяка, оживился, как боевая лошадь от порохового дыма, и понесло парня в удивительный монолог. Вкратце он сводился к

идее, восхнтительио простой и убедительной.

— Шутки шутками, но революцию действительио сделали евреи, — сказал ои. — Ведь достаточио обратить виимаиие иа количество евреев у большевиков, меиьшевиков и эсеров — причем особенио среди руководства. В отдельиые времеиа — чуть ие треть, а лидеры и фигуры заметиые — сплошь и рядом. И фамилии даже иечего перечислять — общеизвестио. Только дело-то не в том, — сказал он, волнуясь и переживая от того, что излагает иечто заветиое, сокровеииое, выиошеииое и важиое. — Дело в результатах революции и всего, что произошло потом. Ведь Россия совершила иад собой иекое самоубийствеииое члеиовредительство. Оиа устроила буквальиый геиоцид, ибо убила своих лучших сыиовей — в областн не только ума и духа, ио и тех, кто веками ее кормил. Посмотрите повнимательией иазад. Интеллигеиция разъехалась или погибла. Здесь и тех, кто эмигрировали, иадо считать, и погибших в результате чисток, в лагерях и тюрьмах сгинувших, и тех, кого выслали иасильио. А искореиеииое дворяиство? А убитое духовеиство? А в граждаискую с обеих сторои павшие? Это о носителях нителлекта и духовности, а заодио — что ие меиее важио — о храиителях совести и чести. А кулачество — самая активиая часть крестьяиства? А та иеиависть и презреиие к труду, что у всех сейчас так явиы и очевидиы — думаете, только оттого, что отбили у российских людей интерес и вкус к труду? Нет, ие только поэтому. Это еще наследствеииое, поверьте. В России были неукосиительио вырезаны носители лучшнх российских генов, а ие это ли, пусть иеполиый, ио самоубнйственииый геноцид? Такое восстаиовиться может через миого-миого поколеиий, еслн вообще может — это вам любой садовод-любитель скажет, здесь ие иадо быть учеиым генетиком. Вот я о чем и говорю. Потому что это, имеиио это — самый страшный урои от революции. Целая огромная иация свою породу ухудшила, это и сегодия, кстатн, иевооруженным глазом видно... А теперь — о евреях и их виие. Я ведь не обвиняю каждого из вас в отдельности. Зиаете, есть такое поиятие — сверхсозиаиие? Это, как я поиимаю, иечто свыше предначертанное, которое каждая личиость в отдельности ие осозиает, но нсполиеиию неосозиаиио способствует. Так вот, все, что произошло с Россией, совершилн евреи, чужаки в ией, укоренившиеся иностранцы. Очеиь уж, во всяком случае, способствовалн. А поскольку впереди нензбежные н очеиь крупиые перемены предстоят, ведь в таком говие, как сейчас, ие

может, согласитесь, долго жить великая страна, то евреям в ней сейчас не место. Помешают они ей опомниться и в себя прийти. Как — не знаю и предсказать не хочу, но помешают. Самая духовность ваша чужда России и вредна ей, как бы вы добра ей ни желали. Не обижайтесь.

— Что вы, — ошеломленно сказал Бездельник. Он столкнулся с такой законченной конструкцией, что никак ее не поколебать — даже, если бы хватило каких-нибудь конкретных знаний. Он напрягся, чтобы возразить, но вдруг с ужасом сообразил, что ему в голову лезут, наоборот, всяческие подтверждения. Вспомнилась почему-то "Дума про Опанаса" Багрицкого, где комиссар продотряда Коган был прямым воплощением совершавшегося. Вспомнился комиссар из "Разгрома", потом Троцкий и Свердлов, за которыми сразу вслед замелькали-замаячили другие, с несомненностью подтверждающие эту сумасшедшую концепцию. И идеями Солженицына запахло. Как ни величественна фигура эта — мужеством своим и талантом, а однако же плохо пахли отдельные его идеи — не отсюда ли и у редактора этот бред?

Закурив — и долго провозившись со спичками, — Бездельник опомнился. В чем он мог убедить этого счастливого, озаренного пониманием истории, вполне сложившегося человека, русского интеллигента самой распоследней формации? Ни в чем.

И ему только ужасно захотелось, нестерпимо, жгуче захотелось довести эту концепцию до абсурда. Что-нибудь в ней достроить, во всяком случае, чтобы она еще ближе подошла, к чему клонилась. Захотелось настолько, что он вдруг ощутил в себе свирепое веселое вдохновение. И уже сам себя слушал с удовольствием, ибо ранее никогда ему такое в голову не приходило.

— Несомненно, — сказал он. — Что-то в этой идее есть. То дыхание истины и правоты, которое ощущаешь сразу, если даже не согласен целиком. Только знаете? Она не полна. И я вам сейчас объясню, в чем именно. Вы ведь наверняка помните, кого в прошлом веке полагали виновниками глухо нараставшей в России смуты. Помните, несомненно? Евреев, поляков и студентов. О студентах ясно, молодые всегда воплощают любые идеи перемен, носящиеся в воздухе. О евреях вы только что сказали, и убедительнее сказать нельзя. А поляки?! Неужели вы думаете, что насильственное присоединение, разделы, всяческие унижения, подавление любого шевеления в стране

— это все оин простилн России? А кого Достоевский, этот иерв души российской, — ои кого ие любил? Тех же евреев и поляков. Почему же вы поляков сбрасываете со счетов, когда говорите о тех, кто осуществлял российский геиоцид? Я вам два имеии сразу иазову: Дзержинский н Меижниский.

Тут Бездельиик запиулся иа мгновеиие, нбо понимал, что для убедительиости нужно третье какое-то громкое имя, ои никак не мог иайтн его в памяти — да н есть ли? — ио увидел загоревшиеся глаза собеседника и его озарило.

— А Вышииский?! — сказал ои торжествующе. — Андрей Яиуарьевич. Ведь ие просто председатель всех этих судилищ, ио оргаиизатор, теоретик, автор и разработчнк совершеиио иового правосудия и иовых форм следствия. Кто, как не ои, всю мировую практику правосудня отверг н похерил, постановнв, что для осуждеиия достаточно признання своей вины?! Сколько мук нз-за этого прнняли миллиоиы, сколько ложных доносов сработало, как стальиой капкан!

— А Вышннскнй — поляк? — с придыхаиием спросил редактор. Ои даже побледнел слегка.

— Чнстопородный, — сказал Бездельинк с твердостью. Что это н действнтельио так, ои узиал немного позже, ио в ту минуту верил искреиие н убеждеиио.

— Потрясающе, — сказал редактор. И оии расстались, чрезвычайио довольные друг другом, а в особеиности — каждый собой.

ГЛАВА 9

Здравствуй! Только что послал тебе письмо, а теперь пишу второе, отправлять которое ие буду. Я его как заклиииание пишу, чтобы ты почувствовала иа расстояиии, как мне важио исполиеиие моей просьбы, не могущей тебя ие удивить. Помнишь, я писал тебе, что увереи, что иедолго здесь пробуду, так я не на месте и системе этой явио чужеродеи? Тақ Иоиу изверг иекогда кит, потому что был Иоиа человеком, а его в себя заглотиуло — животиое иеодушевлеииое. Повторяется, похоже, эта история. Расскажу тебе сейчас по порядку.

Ты ведь ие зиаешь, что параша — это ие только уиитаз или любая в камере посудииа, иет — парашей имеиуется еще любой слух, любая информация о возможной перемеие в судьбе. Не случайиа потому и поговорка, что "параша — это лагериый кислород", ибо большииство параш — об амиистии, о сокращеиии сроков, об улучшеиии еды, вообще — о скощухе всяческой, о иадеждах. Все параши, слышаииые миой с лета, когда я приехал иа зоиу, были об амиистиях по самым разиым поводам: в честь иемыслимых каких-то круглых и полукруглых дат иаших бесчислеииых побед и успехов, по случаю юбилеев и даже просто дией рождеиия каких-ибудь второстепеииых вождей. А еще и потому якобы, что опомиились где-то наверху, ахиули, увидев, что перебрали, и решили разослать повсюду комиссии для опустошеиия лагерей и выпуска слабо виииоватых. Я к этим парашам быстро привык иа зоие, усмехался, выслушав очередную, ио ие разуверял иикого, обнаружив некогда, как людей печалит скептицизм. А возиикиув, параша лопается иемедлеиио сама по себе и исчезает, чтобы тут же смеииться иовой, и свечение кратких мыльиых пузырей этих, как ии страиио, помогает здесь жить. Но одиа из иих вдруг стала обрастать иовыми и иовыми подтверждеииями: то отрядиый офицер был пьяиый и болтал об амнистии, разомлевши от сладостиого виимаиия, то другие блюстители говорили, что и впрямь готовится что-то, неизвестно только для каких статей и какая выйдет скощуха.

Речь, разумеется, шла не о воле в полном смысле слова, а о выписке на химию, на какую-нибудь стройку, но и это представлялось счастьем. Обсуждались перспективы новой жизни, в которой главное место занимала возможность выпить. Женщины (ты уж не обижайся) были явно на втором плане. Вообще о них мало было разговоров. Разве только Мишка-аварийщик (получил семь лет за столкновение на дороге) рассказывал, как работал где-то под Красноярском, а туда столько нагнали химиков — даже в бараках не помещались, и многим разрешила комендатура строить себе балки — это хибарки из досок и вообще из чего придется. Там и жил такой счастливец-химик с какой-нибудь приблудной бабой до конца своего срока, а потом, уезжая, продавал этот балок следующему химику — вместе с бабой. Сам балок оценивался обычно рублей в двести, — деловито излагал Мишка детали счастья, а за бабу — литр водки ставился.

Замечательная вещь — эмансипация! Да еще с необходимостью весь день работать, ибо мужчина — муж, как правило, не в состоянии прокормить семью один. Да еще как работать притом! Почему-то вспомнил сейчас, как был на девяностолетием юбилее замечательной одной старушки-переводчицы, и она вслух читала заметки из своей записной книжки. Одна очень мне понравилась лаконичностью. "Когда я из окна вагона, — писала старушка, — вчера увидела женщин, тащивших на себе шпалы для ремонта железнодорожного пути, я потом долго думала о своей матери, посвятившей всю свою жизнь борьбе за освобождение женщины".

Извини меня, я отвлекся, я становлюсь болтлив, когда заочно разговариваю с тобой. Очень я соскучился по тебе. Но возможно, скоро увидимся. Слушай дальше.

Наступил заветный день, сбылась последняя параша, нам торжественно зачитали указ. Как великое благодеяние и милость. Только мы и вправду обрадовались — те, естественно, чьи статьи подходили. Никогда под такие указы не подходят статьи, касающиеся политики и сопротивления властям — что приравнивает их к умышленному убийству, злостному изнасилованию и тяжелому грабежу с оружием. По статье своей и сроку я годился, хоть и опасался очень, что пришла за мной на зону письменная или устная сопроводиловка с разъяснением, кто я есть на самом деле.

Извини, прервусь. В день, когда указ нам зачитали, подошел ко мне знакомый, некий Ляпин (так я и не знаю его име-

ни, почему-то Ляпин и Ляпин) — маленький и тишайший человек, каждый день застенчиво просивший покурить — у нашей компании просивший, больше ему никто не давал, — и тоже заговорил, что скоро выпустят. Было этому бедолаге очень сильно за шестьдесят, он еще охотился азартно и запойно пил в промежутках. Сел он из-за своего мужского гонора, и был мне очень этим симпатичен. Крепко напился он однажды где-то на окраине своего поселка и шел домой. Всегда исправно доходил, а тут рухнул уже рядом с домом. И уснул сладчайшим сном подгулявшего пожилого труженика. А жена, позвав соседку на помощь, разбудила его, чтобы вести домой. Стыдно ей, видите ли, стало (с возмущением рассказывал Ляпин), что муж на травке лег отдохнуть в канаве у дороги, а не дома или по крайности — во дворе. Да еще и снилось ему что-то чрезвычайно приятное: вроде, что он сам, без собаки, настиг зайца и уже вот-вот схватит. Ну, он и дал жене и соседке. Он их обеих так гонял вокруг дома, поколачивая, что и хмель с него слетел последний, не то что сон. И получил за хулиганство два года, невзирая на то, что ветеран войны, ветеран труда и медалей — полный пиджак. Он еще гражданскую, кстати, помнил, хоть тогда мальчонкой был. По тому, что он рассказывал о гражданской, видно было, что за винегрет сложился у него в голове к почтенным годам.

— Партизаны эти, они за красных были, — рассказывал он, покуривая, — с Колчаком они воевали, значит, с регулярной белой армией. Ну они, красные партизаны эти, в лесах больше жили все, в тайге, значит. Выйдут изредка, постреляют кого, кто белым помогал, продовольствие заберут в деревне — свинией, хлеб, картошку, — есть-то надо им, кушать, значит; ну, конечно, баб немного потопчут, которых словят, — дело житейское, баб от них прятали всегда подалее; лошадей возьмут, овец всяких, и — в лес обратно. Партизаны эти, значит, смело Колчака воевали, много ему урона причинили. Их теперь часто в фильмах по телевизору показывают, они там бандиты называются.

Даже этот Ляпин, чаще всего быстро уходивший, получив табак на самокрутку, задержался возле нас и мечтательно сказал:

— К осени попозже сказывали, что отпустят. Неужели я еще по мелкому снегу зайца погоняю?

— Да еще и бабу погоняешь, — сказал ему кто-то.

— Э, чего там, — отмахнулся Ляпин и замечательно ши-

роко улыбнулся, обиажнв четыре зуба цвета махорки, только что взятой у нас. — Бабу я и по глубокому снегу погоняю, мне бы зайца успеть. А должои?

Это он обращался прямо ко мне, н я не мог его разочаровывать, я его заверил, что сам слышал, как офнцер иа вахте говорил, что уже через месяц будет ои, стоя здесь на вахте, бить нас по жопе сапогом, прощаясь.

Две недели с того дня прошло ровно, н вчера уже была у нас комнссня, подбнравшая дела к рассмотренню. Подходил я полностью, но мое дело комнссня не взяла, это я узнал с достоверностью. Либо, значнт, письменная есть прн деле бумага, лнбо устно кому-ннбудь разъяснилн в наш прекрасный век телефонной связн. Но комнссия готовила дела для выездного местного суда, оттого я и задумал дерзкую попытку вырваться, да еще н с блефом небольшим, обязательно он должен сработать.

Значнт, слушай, что ты должна сделать. Пусть на зону мне придет телеграмма (все равно мне ее не отдадут), что была ты на прнеме большого юриднческого консультанта, ведающего как раз этой амннстней. И он тебе авторнтетно подтвердил, что статья моя н срок — полностью под указ подходят. Вот и все. А судейская коллегня, еслн телеграмму эту им покажут (а я все силы приложу), вдруг да затребует мое дело н поступнт по закону, невзнрая нн на какне телефонные илн устные насчет меня запреты. Из снбнрского простого упрямства. Дескать, есть закон, н баста. Мы его слуги н нсполннтелн.

Вот на это вся моя надежда. Поняла теперь? Исполнн, пожалуйста. Очень уж охота на свободу. Счастлнво!

***

— Почему, — спросил меня Бездельннк, — почему ты нервннчаешь, как невнннная девнца в первый свой рабочнй вечер в бардаке? Ну, пусть не придет телеграмма, все равно ведь комнссня прнедет, все равно ты ей подашь заявленне. Не получится если твой блеф — давай худшее предположнм, тебя не выпустят, но ведь н это не смертельно, стыдно нервннчать.

— Правда, правда, — поддакнул ему Деляга. — Все равно ведь жнзнь продолжается. Ты ж у нас философ, Мнроныч, вот н оставайся философом.

— Ну, уж только философом не оставайся, — захохотал

Писатель. — Мужиком будь, а не философом, Мироныч.

— Что это вы, граждании Писатель, вроде как нашу передовую философскую мысль не слишком цените? — спросил Бездельник. — Мы, конечно, вас не подозреваем, что вы наших философов читаете, потому что уважаем вас, а это несовместимо, только нас ваша негативность настораживает.

— Слушайте, мужики, — сказал Писатель. — Я вам сейчас одну историю расскажу, где все правда до единого словечка, и вы тоже тогда хорошего человека никогда больше философом не обзовете.

И рассказал.

Это случилось в столице одной южной республики, в Институте философии и права. Тут название само за себя говорит: очевидно, учредителям института право казалось такой же абстрактной штукой, как философия, но дело не в этом. Жили они там и жили. Кстати, в здании, где на окнах почему-то козырьки были — то ли от солнца, чтобы мыслить не мешало, то ли для того, чтобы сотрудники института с неба звезд не хватали. Не знаю. Но опять-таки и не в этом дело. А в том, что однажды как-то, в ночь с пятницы на субботу (а возможно, и с субботы на воскресенье) кто-то неизвестный, но злоумышленный — дерзко и вызывающе насрал на стол заведующего сектором эстетики. Здоровенную кучу навалил. В понедельник утром раньше всех пришла уборщица. Ахнула она, ужаснулась нравам ученых н убрала со стола эту гадость, аккуратно вытерев стол. За что через час получила строгий устный выговор, ибо убрала она, как выяснилось, — вещественное доказательство для стремнтельно возбудившегося следствия. Ибо этим антиобщественным поступком, совершенным на столе ведущего эстета, занялся увлеченно весь ниститут, ранее изнемогавший от зеленой тоски и полной незанятости. Посыпались доносы, подписанные и анонимные. В адрес как институтского, так и вышестоящего начальства. Нет, впрочем, — подписанных не было, философы — люди предусмотрительные. Как поется, если помните, в детской песенке: "Климу Ворошилову письмо я написал, а потом подумал — и не подписал". В каждом доносе приводились вопиющие конкретные факты злодейских и вероломных интриг сотрудников друг против друга, результатом которых и явилось отмщение в виде упомянутой кучи свежего дерьма. Из вороха этих доносов неопровержимо следовало, что почти все философы и правоведы спали с женами своих друзей и сотрудников, развратничали по всему большому городу в ме-

ру своих сил и воображения, заваливали друг у друга аспирантов, подсиживали друг друга, клеветали и сплетничали, воровали безбожно и напропалую все глубокие идеи и мысли своих коллег, даже по пьяному делу дрались в рабочее и нерабочее время. Занимались заработками на стороне — так один, к примеру, философ с утра до ночи чинил и красил автомобили, а другой оказался известным всему городу книжным спекулянтом. В каждом доносе был свой сюжет и своя интрига, приводившие к одной и той же развязке — куче дерьма на столе руководящего эстета.

Этот поток интимной информации был столь густ, что, конечно, прежде всех из института за что-то вопиюще неблаговидное выгнали главного пострадавшего, самого заведующего эстетической мыслью. Потому что все понимали, что все-таки главный виновник этой кучи — он сам. Далее, как непременно водится, выгнали ученого секретаря за ослабленность научных достижений. Кому-то объявили выговор, и жизнь философов снова успокоилась.

На полгода. А через полгода — и не просто за взятки при приеме экзаменов у аспирантов, а за злостное вымогательство этих взяток — посадили в тюрьму и дали срок заведующему сектором этики. Дело этого ведущего специалиста по нравственности и морали снова породило поток доносов, но уже в них мало было свежей информации, только выяснилось, что кто с кем спал, те и продолжают спать. А еще один философ по историческому материализму каждую, как оказалось, весну возил на самолете в Москву на рынок ранние цветы и молодые овощи, но дело его замяли, ибо чей-то он оказался племянник. Случаи воровства идей и мыслей тоже больше не рассматривали, ибо подробный разбор таких дел приносил один и тот же результат: оказывалось каждый раз, что тот, у кого их украли, — сам, в свою очередь, злостный плагиатор и перелицовщик старья. Разумеется, выговоры были, а с работы выгнали только нового ученого секретаря.

Тут опять пошло время спокойной философствующей жизни, нового ученого секретаря взяли со стороны, чтоб освежить научные кадры, это был человек безупречной репутации, бывший летчик, закончивший философский факультет и имевший опубликованные труды, в институте он очень понравился коллективу тем уважением, которое проявлял равно ко всем коллегам.

А спустя полгода этот новый ученый секретарь зазвал к себе домой одного почтенного пожилого правоведа, угостил его

коньяком и развлек изысканной беседой, после чего привязал простынями к стулу и подверг утонченнейшим физическим пыткам, которые несчастный правовед отказался даже впоследствии полностью описать. Этот ученый секретарь оказался давно уже состоявшим на психиатрическом учете агрессивным маниакальным больным, а все его философские труды были написаны другими людьми, нанятыми за деньги со стороны (из того же, скорей всего, института). К своей жертве — правоведу, оказывается, он давно уже имел жгучие претензии ввиду чисто теоретических расхождений в вопросах права и мироздания вообще. Пытками он хотел вынудить у несчастного признание в философской неправоте и согласие на перемену взглядов. Правовед, кстати, клялся впоследствии (когда его на всякий случай стали увольнять), что он взглядам своим и убеждениям, несмотря на пытки, не изменил, и ему охотно верили, потому что знали, что у него и не было никогда никаких взглядов и убеждений. Но уволить — все равно уволили. Он потом года два до пенсии работал билетером в кинотеатре.

— Ну, — сказал Писатель, — закончив, — можно после этого всерьез относиться к философии?

— М-да, — сказал Деляга задумчиво. — Вот действительно диалектичекий материализм.

— Жалко, что ты сел, Писатель, — сказал Бездельник с хищным любопытством, — интересно, что там делается теперь.

— Да, с этой точки зрения жалко, что я сел, — охотно согласился Писатель.

* * *

Мы томились в полутьме раннего вечера у штабного барака, где сидела приехавшая комиссия выездного суда, и разговаривали, собравшись группками. Очень холодная мела поземка, мы приплясывали время от времени на месте и курили, поворотясь к ветру спиной, но отсюда никуда не уходили. Я не знал, дошло ли мое письмо и пришла ли на зону телеграмма, я пока только отдал заявление с просьбой рассмотреть мое дело, ибо оно — по ошибке, недоразумению, спешке, писал я, — не попало в те дела, что отобрала предыдущая комиссия. Нет, не очень-то я верил в удачу, но я верил в мудрость старой притчи о мышах, гибнувших в сметане. Как покорно утонула та, что поняла безнадежность ситуации, и как дрыгала лапками дру-

гая, пока не сбила из сметаны масло, на которое опершись, выпрыгнула. Заявление мое отнес в комиссию маленький лейтенант, появившийся на зоне недавно и еще вполне доброжелательный по малости своего стажа. Он меня только подозрительно спросил — откуда же я знаю, что мое дело не представлено суду, но я вежливо объяснил ему (к вопросу был готов), что сказал мне это майор, ведавший политчастью, — а майора не было уже на зоне, его съел заместитель, что-то на него написав. Они все время от времени друг на друга что-нибудь писали, то по пьянке поругавшись, то не поделив что-нибудь, а еще их от скуки и тоски очень науськивали друг на друга жены. А доносить всегда было что, ибо каждый и на дрова себе крал с промзоны лес, и бревна привозил, если что-нибудь построить собирался, да и с деньгами творилась кутерьма — часто это был ключ к досрочному освобождению на химию. Словом, не было уже майора, съели, и лейтенанта мое объяснение полностью удовлетворило. Заявление он отнес и даже выйти не поленился, чтобы сказать, что дело обещали рассмотреть. Дай тебе Бог здоровья, лейтенант, и удачи, и чтоб человеком здесь остаться — это на самом деле очень нелегко. И опять мы стали приплясывать у барака. Вызывали по одному, но ненадолго. Освобождали по амнистии этой — ветеранов войны (если инвалиды) и беременных женщин, остальные надеялись на химию. И комиссия очень быстро рассматривала дела — ей ведь только формальности оставались. Толпа редела.

Разговоры вокруг вялые шли, уже приевшиеся зековские разговоры. Очень много в неволе хвастаются — это я давно уже заметил. Ясно, что есть два вида хвастовства: победителя и побежденного. То непрерывное петушение, которым занимался на своих пирах Александр Македонский, — конечно же, отличалось от самоутешительного хвастанья тех, кто был им побежден и повержен. Эти воспоминания, действительные и придуманные, — некое лекарство для душевного равновесия, сильно поколебленного поражением. Отсюда и хвастовство заключенных. Жалкое и примитивное у большинства. И отсюда же, скорее всего, жажда власти над еще более слабым, стремление принизить другого, над кем-то восторжествовать — со всей мерзостью, проистекающей из этого, со всем тем, что я на зоне вдоволь повидал. Разной степени тут беды и унижения, но в беде и унижении здесь каждый. И каждый, кто как может, компенсирует свой душевный надлом. Только надлом, он все

равно виден. И настолько тонет в нем человек, что почти ни на что иное сил у него не остается. Потерпевшие жизненное поражение — куда больше эгоисты, чем удачники, — тут, возможно, более подойдет слово "эгоцентризм", ибо полностью, целиком погружен человек-невольник в собственные свои переживания, заботы, горечи. И немного в нем остается для сочувствия ближнему. А если и ранее было мало сочувствия, то совсем ничего не остается. Две несомненно удивительные вещи привлекли на зоне мое внимание: никто, во-первых, никого почти не слушает здесь — не слышит, точнее, — каждый стремится сам рассказать свою историю, жизнь, надежды; становясь же слушателем, явственно замыкается, отрешается, слушает вполуха, рассеянно и оцепенело глядит куда-то. Это не просто отсутствие сострадания, это странная какая-то замкнутость в коконе собственных нелегких ощущений. А второе — это тоже о жалости, милосердии, доброте и просто участии. То, что нету их, очень страшно и вредоносно. Знал я и ранее зековскую стародавнюю поговорку (где-нибудь у Солженицына, должно быть, прочитал): "Умри ты сегодня, а я — завтра", только я ее как-то умозрительно воспринимал. Слышал и другую позднее: "Кого ебет чужое горе, когда свое невпроворот!", но все это как-то отвлеченно для меня звучало, пока с ужасом не почувствовал я в лагере, как и во мне властно поселяется эта отстраненность от всего, что делается вокруг. Так что я не о внешних наблюдениях пишу, это я по себе отлично знаю — спохватившись однажды, с холодностью потом в себе наблюдал. Не было этого на воле — многие друзья и приятели, даже малознакомые подтвердили бы, как я был отзывчив на воле. Я пишу это именно для того, чтобы свое изменение подчеркнуть. Я надеюсь (нет, я уверен), что пройдет это у меня, вернется прежнее, а вот что может вернуться к соплякам, которые с этого свою жизнь, по сути, и начали? Очень рад буду оказаться неправ. Унижения, уготованные здесь для побежденных, — они чувство чести (если раньше оно было, разумеется), чувство собственного достоинства, что было, — растаптывают довольно быстро. Возникает отсюда рабская исковерканная нравственность: не западло (замечательно точное выражение) обмануть, подвести, что-то выкрутить в своих целях, исхитриться, унизительно словчить. Это — по отношению ко всем, кто снизу. С товарищами, с равными — западло. Но товарищей нет на зоне. Или почти нет. Есть кенты — равные по иерархии, временно близкие сожители. Сплошь и

рядом оказывается, что и с ними такое — не западло. Отсюда, кстати, горькая лагерная поговорка: "Сегодня кент, а завтра — мент". Вероломен, коварен, всегда готов ко лжи и предательству униженный раб. Ну конечно же, я преувеличиваю, ну конечно, я сгущаю краски, вырисовываю голую и страшную схему — конечно. Только где-то под осень вызвал меня к себе начальник оперативной части — кум по-лагерному, традиционно страшная на зоне личность. Очень это, кстати, симпатичный и очень, по-моему, неглупый молодой старший лейтенант Данченко. Первый наш с ним разговор (я только с месяц тогда еще пробыл на зоне, когда он впервые вызвал меня) вообще был очень странным.

— Слушай, — сказал он приветливо, — таких пассажиров, как ты, у меня еще не было, честно тебе скажу. Я прямо не знаю, что мне с тобой делать: булками тебя кормить или не выпускать из изолятора. Ты сам-то как считаешь?

Я ему ответил довольно бодро, как мне тогда показалось, ибо страшно было очень, его весь лагерь боялся.

— Смотрите сами, гражданин старший лейтенант, — сказал я. — Если специального приказа на меня нету, чтобы в изоляторе держать, присмотритесь сперва. Может быть, и нету у меня ни рогов, ни хвоста, за что ж тогда в изолятор? Глаз у вас тут много, чтобы посмотреть.

— Глаз хватает, — согласился он. — А вообще тебе здесь как живется? Не жалуешься?

— Нет, все в порядке, — честно сказал я.

— Ну, а тебя не удивляет, к примеру, что почти все наши офицеры, как бы это выразиться... — он помялся чуть и усмехнулся очень молодо и симпатично, — скоты в чистом виде?

Я ответно усмехнуться не посмел.

— Если вас это не обидит, в смысле не вас, а вашу честь мундира, то согласен, — ответил я осторожно. — Но меня это ничуть не удивляет.

— Ожидал, что ли? — настаивал он.

— Догадывался, — уклончиво ответил я.

— Ладно, — сказал он. — Иди. И запомни две вещи: болтать будешь что-нибудь лишнее или будешь для зеков писать жалобы на администрацию — сгною. Понял?

— Понял, — ответил я. — Спасибо.

— Не за что, — сказал он мне вслед, сожалея, кажется, что сам сказал лишнее.

Осенью он вызвал меня опять. Только это был другой вызов:

будто бы к замполиту меня дернули, а когда пришел к штабу, дневальный меня провел к куму. Он был чем-то занят и очень сосредоточен. Предложил сесть, чего за ним не водилось. — Отзывы о тебе хорошие, — сказал он хмуро. — Хотим тебя перевести в завхозы школы. Ты как? Там надо грамотного, учителя просят.

— Если можно, гражданин начальник, я отказываюсь. Не подойду я, — отвечал я ему без колебаний, ибо не сомневался в том, что говорю. Завхоз — это надзиратель из своих же, главный его аргумент и довод — один, а драться я не мог и не собирался.

— Почему? — удивился кум. Это была лучшая, если не считать санчасти, должность на зоне, ибо некоторые учителя носили чай, была своя каптерка и почти никаких обязанностей. Кроме одной: чтобы в школе было чисто (бить дневальных) и порядок был на переменах (бить любого, кроме блатных, разумеется, но, по счастью, в их кодекс преступных снобов входило чинное и невозмутимое поведение в таких местах, как школа).

— Бить не хочу, — лаконично сказал я.

— Не хочешь или не можешь? — весело удивился он, явно имея в виду мои чисто физические данные, хотя знал прекрасно, что физическая сила здесь не главное — бьют согласно иерархии, а не по силе.

— И не могу, и не хочу, — ответил я спокойно — не ему было меня раззадорить.

— Ну и не надо, — сказал он равнодушно. — Найдутся охотники. Я тебя не затем и вызывал. Сиди, сиди.

Вот-те на, и я сразу понял, зачем на самом деле он меня к себе вызывал. Я был давно готов к этому, удивлялся даже, что до сих пор не зовет — ему ведь наверняка уже давно сообщили, сколько знакомых у меня на зоне и сколь со многими я общаюсь по-приятельски. Ну давай, кум, я готов. Давай.

— Помогите нам, — сказал он (на "вы"). — У меня хоть глаз много, но вас тут многие уважают, доверяют вам, а что вы за мужиков заступаетесь, я тоже знаю. Помогите нам с нарушителями бороться.

— Нет, гражданин начальник, — сказал я твердо. — Не могу я это. С детства так воспитан, что не могу.

— Свидание внеочередное будет и посылку разрешу, — сказал он привычным тоном, перечисляя допущенные за стукачество льготы. — Зря отказываешься помочь.

— Вы, похоже, гражданин начальник, — сказал я, — не совсем знаете, за что я в действительности сижу. У меня в деле — что же, нету сопроводиловки насчет меня?

Это был, как именуется на зоне, "гнилой подход" — замечательное понятие, означающее заведомость и особую нацеленность разговора, когда что-нибудь надо выудить информационное (или просто полезное) из собеседника.

— Нет, — сказал он очень искренне, — ничего такого нету особого. А ты что, за что-нибудь другое сидишь?

— В общем, нет, — сказал я, отступая, ибо главное, что нужно было, уже выяснил (если он не врал, конечно, соблюдая служебную тайну). — Нет, я просто думал, что раз меня так далеко загнали, то, может быть, и написали что-нибудь ругательное.

— Зря ты отказываешься, — повторил он. — Себе же хуже делаешь. К освобождению, глядишь, досрочному, время подойдет, — а за что, я тогда спрошу, досрочно его освобождать? Ты ведь не представляешь себе, хоть и не дурак, сколько на меня людей в лагере работает.

— Да немного, наверно, — снова с зековским подходом ответил я. — Откуда ж много? Ведь боятся.

— Да ползоны, считай, — назидательно сказал мне кум, желая остаться победителем в этом нашем разговоре. — Ползоны! А блатные, милый мой, почти все стучат друг на друга. Понял теперь?

Я понял. Я и сам это начал подозревать. Очень мерзко на душе у меня было, когда стал впервые догадываться. Ну, а врет он мне, так врет. И я молчал. От отпустил меня и больше не вызывал.

Разговор этот я вспоминал сейчас вечером. То ли в связи с тем, что думал о рабской нравственности и количестве на зоне стукачей, то ли в связи с тем, что нет на меня (если кум не врал) письменной усугубленной инструкции. Я ведь и строил свою игру на том, что ее нету, письменной.

Заседали у нас местные судейские власти, под указ я полностью подходил, и надежда не оставляла меня. А из лагерных наших офицеров там сидел только тихий замполит, что подсидел и выжил недавно доброго майора, вряд ли он обо мне что-нибудь знает. Надо ждать. Со мной курили, не уходя, несколько человек, а толпы прежней не было вокруг, они все уже грелись по своим баракам и гадали, когда будет этап на волю. Вызвали меня последним. Но вызвали.

Лиц комиссии я не помню, так волновался, рапортуя, что зек такой-то из такого-то отряда, статья такая-то, срок пять лет. Видел я только седого председателя в штатском, сбоку от него пожилую женщину в форме с погонами подполковника, да еще краем глаза отметил, что и лейтенант-оперативник, главный кум тот самый, тоже здесь. И он встал, наклонился к председателю и что-то сказал ему, а потом сходил к себе и принес какую-то бумагу. Неужели все-таки дошла телеграмма? Я ее, конечно же, не получил, только я ведь не себе ее предназначал. А если не телеграмма это, а моя сопроводиловка, где помимо приговора поясняется, кто я есть? Да наплевать, уже ведь поздно все равно, еще минуты три и чифирну с ребятами в бараке.

Седовласый несколько минут листал мое дело, спросил у нового замполита, нету ли за мной нарушений лагерного режима, длинно и (ей-Богу!) доброжелательно посмотрел на меня. Остальные даже голов не поднимали, занятые бумагами, очень много писанины, очевидно, было оформительской, а давно уже поесть и выпить пора. Женщины-подполковника я еще почему-то опасался и поэтому смотрел на нее, но она тоже от бумаг не оторвалась.

— Есть предложение освободить, — сказал седовласый. Остальным это было столь же безразлично, как оставить или, к примеру, прибавить срок — они вроде народных заседателей здесь были, кивалы просто. И они кивнули согласно. До чего же славные мужики.

— Освобождаетесь, — сказал седовласый. — На стройки народного хозяйства. Можете идти.

Конец этого дня я помню плохо.

* * *

— Ну и повезло тебе, Мироныч! — утром сказал Деляга восхищенно.

— Головой работать надо, — рассеянно ответил я.

— Больше не попадайся, — заботливо сказал Писатель.

— От судьбы зависит, — заметил Бездельник. — Сесть всегда есть за что. Недонесение, и то статья. Анекдот — распространение порочащих измышлений. Пожаловаться, на кого не положено, — клевета. Я уж остального не перечисляю, хотя есть. Вообще бы я весь уголовный кодекс заменил одной

статьей, чтобы судьи по ией давали от года до пятиадцатн по своему усмотреиию, а формулировка простейшая...

Ои замолчал, покуривая.

— Ну? — поторопили мы его.

— Неадекватиая реакция иа заботу партии и правительства, — сказал Бездельиик.

— Психиатрией пахиет, — с сомиеиием сказал Деляга. — Лучше, может быть: "Злостио портил атмосферу глубокого удовлетвореиия"?

— Нет, это слабее, это в комметарий иадо вставить, — сказал Писатель. — Одиа фраза — кодекс, одиа фраза — комметарий. И учиться тогда иа юридическом будет легче, и процессы судебиые упростятся. Молодец ты все-таки, Мироиыч, что освободился. Водки выпьешь...

— Шрам иа душе останется, — сказал Деляга.

— На душе ие видио, ведь ие жопа, — сказал хирург Юра чью-то явио не свою иезамысловатую мудрость.

А Бездельиик иеожиданио захохотал громко, и сразу Юра посмотрел иа него с опаской. Дело в том, что с иеделю приблизительио назад Юра вдруг спросил, не хотим ли мы послушать историю, как ои впервые в жизии убил человека. С иитересом стали его слушать. Юра после медициисхого иистнтута еще в армии служил, далеко в Туркмеиии, иа самой граиице. И оттуда будто бы пробилась банда басмачей, что-то где-то сожгла и теперь шла обратио, а подразделеиие Юры (все очень иевнятио было, и быстро стало ясио, что врет) им иаперерез в штыки кинулось. И Юра будто бы в запале этой схватки штык свой в басмача так воизил, что едва его вытащил обратио.

— И так как это был первый убитый миой человек, — продолжал Юра патетически и упоеиио, — то я после боя подошел к этому трупу специальио.

— Ну, и что ои тебе сказал? — спросил Бездельиик. И с тех пор Юра был с ним очень осторожен.

— Я нсторию, ребята, вспомиил одиу про шрамы, сказал Бездельиик, объясняя свой смех. — Вы послушайте, оиа того стоит:

Замечательный одии мужнк шоферил всю войиу иа грузовой машиие. Как-то лютой зимой, в очеиь долгий затор попав, пока дорогу чииили после обстрела, вылез ои остыть и подышать. И иа ледяиую глыбу присел. На Леиииградском фроите было дело. А ие спал перед этим суток двое. Разбудили его часа через три и сразу отвезли в медсаибат, очеиь крепко ои отмо-

розил себе задницу. Кончилась война, к семье вернулся, счастье полное, стал хозяйство налаживать и свиней завел, чтобы кормиться. Как-то зашел в свинарник, там электроплитка стояла — пойло свиньям греть, он ее включил, а электричества нет. Был он подвыпивши крепко. Сел на эту плитку, пригорюнился и сладко уснул. А проснулся уже от боли и дыма — дали электричество и задницу свою он прилично сжег. Ну, ему помазали ее, забинтовали — вылечили. Жизнь лучшает с каждым днем. А спустя какое-то время мылся он в городской бане, там купил себе кружку пива, нес в предбанник, предвкушая удовольствие, и неловко так поскользнулся, что не только кружку разбил, но и сам на осколки сел. И вот тут-то, когда его в больницу доставили, посмотрел врач на его заднее многострадальное место, спросил, отчего оно так исковеркано, и сказал замечательно точные слова. Он так сказал:

— Дорогой товарищ! Именно с вашей жопы следует писать роман "Судьба человека"!

Бездельник свои байки обычно зря не загибал, и я ждал, что он сейчас мне что-то скажет. И он сказал негромко:

— Ты не радуйся пока, Мироныч, ладно? Прежде времени не радуйся, что жизнь лучшает. Обратил внимание — ведь на комиссии никого из нашего начальства не было, заметил? На охоте они где-нибудь, а то в отъезде. И вернутся не сегодня-завтра. И узнают, что дело, не случайно ими задвинутое, ты ухитрился вытащить на этот суд. Так что погоди ликовать. Согласен?

Я был согласен, спасибо тебе, Бездельник. Очень вовремя ты меня охолодил.

* * *

Что ж, последнюю надо делать запись в дневнике. Я бессмысленно и бесцельно шатаюсь уже несколько дней между бараков, сажусь покурить с кем-нибудь и снова вскакиваю, словно тороплюсь куда-то. Снова шатаюсь. Назойливо вертятся в уме неизвестно откуда взявшиеся строчки:

Помазали свободой по губам,
испробовать не дали ни глоточка.

Я не знаю, чьи они, да и не уверен, что знал их раньше,

Зак. 1787

здакое мог придумать и сам. Несложно. Все началось с того, что мне сперва шепнули, что начальник лагеря, с охоты приехав, отказался отпустить меня, собирается с кем-то консультироваться (я-то знал отлично — с кем), звонить куда-то и ждать приказа, а решение выездного суда хочет опротестовать. После вывесили списки тех, кого суд освободил и кто на днях уходит по этапу работать на назначенные стройки. Меня там не было. А потом три этапа ушли почти один за другим, и ясно стало, что меня тормознули прочно, что годами отмерять мне срок, а не днями, как я начал надеяться после суда. Отчаяние и тоска, владевшие мной, были чем-то странно знакомы, и забавно, что усилия вспомнить, откуда памятно мне это острое чувство безнадежности, усилия эти развеивали меня и облегчали. Вспомнить я, однако, не мог. Не было в моей жизни такого острого сочетания несправедливости, поражения, сокрушенных надежд (как они вспыхнули, мерзавки), бессилия придумать что-либо и что-нибудь предпринять. Не было. Потому что после ареста было другое ощущение: схвачен! Как в плену. И все. Словно ожидал заранее. Нет, не было такого прежде.

Однако было. Просто гораздо позже. И не мог я это вспомнить никак, потому что связано это оказалось не с реальностями моей жизни, а со сном одним в тюремной камере. До краев был наполнен этот сон весенним воздухом и весенним светом. В эти воздух и свет раннего, но солнечного апреля вышли из моей квартиры вместе со мной (все цветное было, четкое, звучащее — реальность полная) трое или четверо людей — следователи и конвой, недавно привезшие меня из тюрьмы домой почему-то (а во сне понимал даже, что надо), чтобы снова сделать обыск. И мы все стоим, окунувшись в это весеннее благоденствие, а в метре от меня мой маленький сын пускает кораблик из спичечного коробка в бурно лопочущем ручье. И я вижу, как он в азарте и ажиотаже ("моя кровь" — думаю я с умилением и любовью) шлепает в своих ботиночках прямо по ручью и уже промок почти до колен, а забрызган много выше. Я протягиваю к нему руку, говорю что-то воспитательное, проверяю, не очень ли вспотел, глажу по мягким волосенкам, а когда поднимаю голову — моего конвоя нет. Ни следователей, ни сопровождения, и уже машина их скрылась за поворотом улицы. И тогда в это чувство воздуха и света вдруг вплелось такое ощущение свободы, что никак я не мог не задохнуться от прихлынувшего к горлу счастья и проснул-

ся на этом пике сна и радости. В очень грязной, потому что очень перенаселенной, в очень душной камере тюрьмы. И вот здесь они пришли ко мне, те отчаяние и тоска, что сегодня показались знакомыми.

Надо было все эти дни держать себя в руках и следить за собой пристальней, чем обычно. Потому что перед каждым этапом идут одни и те же разговоры: дорога близкая, высадят нас, поселят в общежитие под надзор милицейской комендатуры, и можно сразу пойти и выпить. Где-нибудь поближе к базарчику непременно, чтоб соленый огурец был или банка груздей соленых. Как они хрустят, подлецы, если хорошо отмочены перед засолом! А картошки, где картошки бы нам сразу нажарить? Я сегодня не спал до трех, думая, что мне хотелось бы совершенно иного, с той же, впрочем, плотоядной остротой: добраться до библиотеки любой и до почты — позвонить родным. Но когда провалился, наконец, в сон, то увидел ту же картину: мы стоим, сгрудясь, у какого-то рыночного прилавка и заедаем водку соленым огурцом, отдающим чесноком и смородиной. Что поделаешь, не было у меня о свободе никаких высоких мыслей.

Да, так вот надо было держаться. А лицо как застыло, подлое. Я курил и ругал себя, и уговаривал, и жалел, что с далекой юности уже не верил ни в какие возвышенные примеры, а то вспомнил бы сейчас что-нибудь покруче и пришел в себя, подражая. В детстве с этим было много проще. Посмотрев, помню, фильм о Мересьеве, как он полз, обмороженный и раненый летчик, перекатываясь с боку на бок, не сдаваясь, мы с приятелем часа два, наверное, после кино ползали, как он, по снегу на большом пустыре за школой. Кажется, простудились оба. Но убедились, что при случае проползем. Хорошее было время. А кому-то в назидание здесь на зоне я рассказывал один вычитанный мной случай. Про белогвардейского офицера, сидевшего в самом первом российском лагере — на Соловках. Он за что-то был приговорен (уже там) к расстрелу, когда вдруг с корабля, привезшего с материка очередной этап, сошла — без конвоя, вольная, — его бывшая невеста (или жена), правдами и неправдами исхлопотавшая три дня свидания. И ему это свидание дали, даже комнату им где-то отвели. И три дня их видели вместе. И она смеялась громко, он рассказывал что-то ей, не умолкая, и смеялся сам, и таких счастливых людей уже давно не видели Соловки. А он знал ведь, что всего три дня ему осталось. А потом она собралась уезжать и

взошла по сходням и обернулась, чтоб ему рукой помахать, но уже его не было на причале, потому что за углом то ли бани, то ли сторожки, не помню, он уже стоял у стены, прямо глядя в поднимающиеся дула винтовок. Очень мне когда-то врезалась в память эта прочитанная история о мужской выдержке. Но в себе я ее не находил. А ведь остаюсь — не на расстрел. Ну подумаешь — поблазнилась свобода. И возьми ты себя в руки, подонок. Почему ты так расслабился позорно? Ты еврейский жидкий слюнтяй.

Тут еще одна мне вспомнилась история. Было в ней библейское что-то. Я услышал ее незадолго до ареста. Уезжал в Израиль старик-патриарх со всем своим разветвившимся семейством. И уже после таможенного досмотра где-то, где сверяются с бумагами пограничники и вот-вот посадка в самолет, старика, шедшего последним, задержали вдруг и отобрали выездную визу. Может быть, в ней была какая-то неточность, и назавтра же он мог бы улететь, ее исправив, — в ту минуту он ведь этого не знал. А уже отделенные от него неодолимой невидимой чертой, замедляли шаги, останавливались, не зная, идти им дальше или нет, его дочери, сыновья, зятья и невестки, внуки и даже правнуки. Что-то было их там много, как мне рассказывали. Уезжала вся его жизнь, весь смысл и интерес ее, и старик не знал, соединится ли он с ними. Но в мгновение, когда все остановились, он, растерянность свою стряхнув, закричал им громко и повелительно:

— Дети мои, не оборачивайтесь!

Мне, историю эту вспомнив, рассказать ее было некому. Ни Бездельнику, ни Писателю, ни Деляге. Потому что вчера после вечерней проверки подошел ко мне один мужик и сказал, что — завтра. Очень забавный, кстати, человек — с интересом слушал я его историю. Был он майор пограничных войск, а жил в Москве и только ездил на инспекторские проверки. И уже ему было за пятьдесят, и уже он вышел на военную пенсию, когда внезапно — он и сам не ведал отчего, просто от гипноза службы освободился — вдруг открылись у него глаза на все происходящее в стране. Всю свою жизнь отдав пограничной службе, вдруг он глянул со стороны на эту жизнь, понял и осознал, что граница у нас не от шпионов вовсе и диверсантов, а чтобы мы, наоборот, не разбегались. Что это вовсе не защита от наружной мифической опасности, а обычная охрана — вроде тюремной. На десятках тысяч километров. Открытие ошеломило его, но ему и поделиться было не с кем.

И сломался он, и жестоко запил. И завел себе любовницу, и катался с ней на своей "Волге", избывая время, как умел. И в подпитии крепком наехал на двух старушек, выпорхнувших из-за стоявшего автобуса. Восемь лет. Этот немолодой уже кореастый мужчина вел себя в лагере, как мальчишка, — в смысле рисковости и всяких запретных дел. Может быть, бывшие навыки пограничника его хранили, но всегда в бане, где он работал уборщиком, у него можно было и чаю попить, и поесть чего-нибудь с воли, а два раза мы даже выпивали там. Он-то и подошел ко мне вчера и сказал, чтобы я был готов назавтра к вечеру, он отправит, как обещал, все до единой мои записи на волю. И они потом ко мне вернутся.

Времени почти не оставалось. И растаяли в холодном воздухе, исчезли сразу же мои верные лагерные собеседники. И Деляга, и Писатель, и Бездельник. Потому что не было их, потому что сам себе вспоминал я всяческие истории, одиноко или в компании гуляя вокруг барака, потому что именно так именовал бы я себя в тех трех жизнях, тех трех руслах, по которым текла уже много лет моя троящаяся судьба. Это я собирал иконы, и писал различные книги, и работал инженером почти все время, и на выезд бумаги подал, когда вызвали меня вдруг и стучать предложили на друзей. Уговаривали, льстили и грозили. А всерьез разозлились, когда я подписку о неразглашении дать отказался категорически. Обещали, что пожалею потом. Уязвимый ведь человек вы — коллекционер. И нашли двух подонков, на меня показавших (дело среди воров неслыханное), что я знал, покупая у них иконы, что они краденые. И заведомый вскоре состоялся шитый белыми нитками процесс. Уж теперь и вспоминать смешно, какой я был фраер так недавно.

И тюрьма с лагерем, этот бесценный опыт, не даваемый больше ничем на свете, тоже воспримется мной, я знаю, неоднозначно, а через сознание этих трех.

Но пора мне заканчивать записки, мне их надо еще упаковать. Я сидел только что среди нестройного гомона общего расставального разговора и физически ощутимо чувствовал, как спадает с меня тяжесть перегрузки, так внезапно доставшаяся мне. Очень правильно говорят на зоне: дни текут медленно, а годы летят. Исчерпается мой срок, рассосется это трудное время, будет воля, где оставшиеся годы жить я буду насыщенней и гуще. А сейчас, когда явно лопнул вдруг возникший мираж свободы, окунусь я снова в реальность лагеря, столь

питательную для прогулок вокруг барака. Отдышусь немного, снова примусь писать. Этого у меня никто не отнимет. Даже если не на чем и нечем, некогда и негде будет писать. А тебе, старый дневник, — удачи! В смысле, что не пропадай, пожалуйста!

* * *

Так как я люблю книги исключительно со счастливым концом и уверен, что этот мой предрассудок многие разделяют, не могу не дописать на воле новый конец этого лагерного дневника. Вышел я все-таки на свободу, не решились мои пастыри опротестовать столь случайное, но — решение суда. То ли им не хотелось шума, то ли рукой махнуть решили. И попал я в маленький сибирский поселок с историческим названием — Бородино. Деревню, давшую ему название, основали полторы сотни лет назад солдаты Семеновского полка, пригнанные сюда на поселение после знаменитых волнений в полку еще за пять лет до Сенатской площади. Здесь о них уже и памяти нет. И уже я здесь работать начал, а вчера и фразу дивную услышал, очень для счастливого конца подходящую. Мой приятель шофер Петя, после работы бутылью портвейна освежившись, вышел посидеть на лавочке возле своих ворот, а около него остановились две старушки-соседки, я их тоже уже знал. Я за хлебом шел и к ним приближался. Говорили они явно обо мне и жене, приехавшей ко мне — видно было по тому, как они оборачивались, глядя на меня. А когда я поравнялся и прошел, поздоровавшись, одна старушка сказала:

— Ведь они какие люди хорошие.

На что Петя-шофер ответил авторитетно:

— Хуевых не содют.

1980 год
Красноярский край.